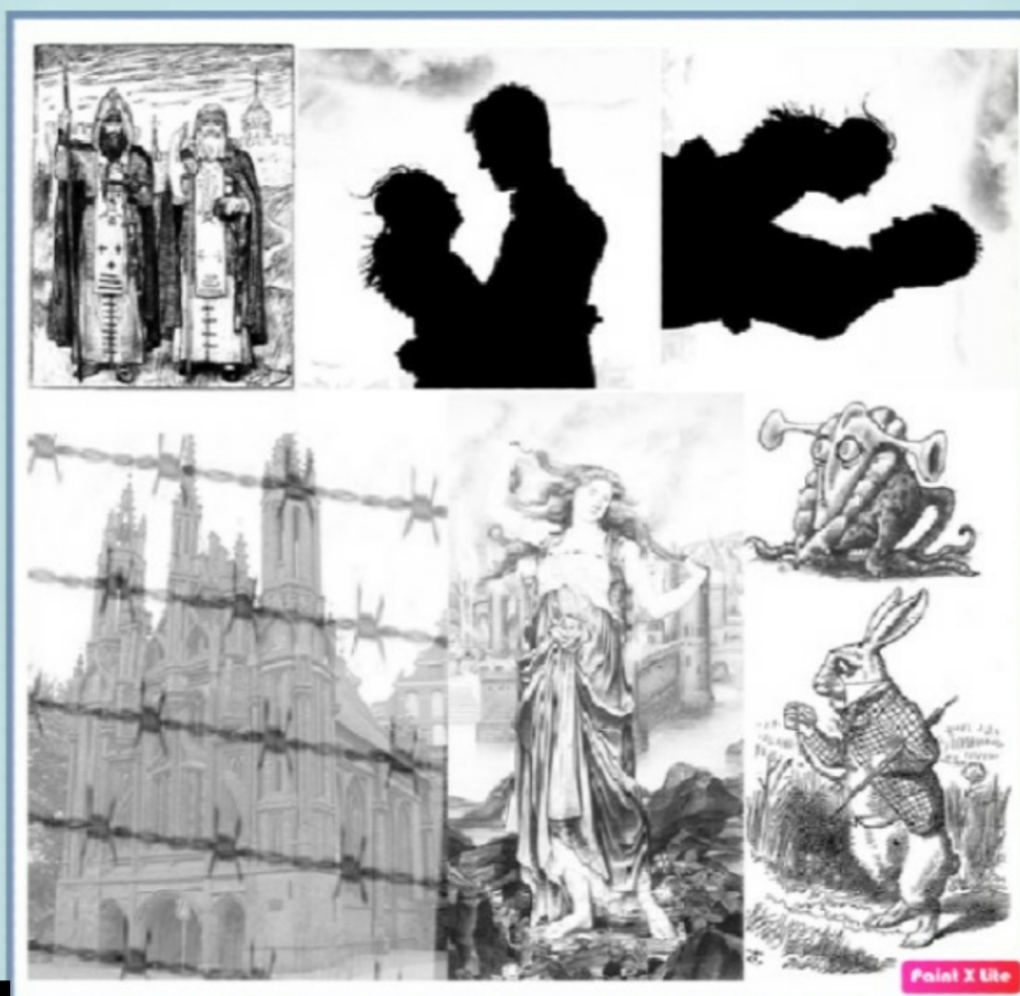


Марк Рабинович

# Обо всём

или ни о чём



СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Марк Рабинович

**Обо всем**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

## **Рабинович М.**

Обо всем / М. Рабинович — «ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-95543-1

Я не случайно добавил к названию этой книги слова "обо всем". Мне и самому неясно, что объединяет произведения, включенные в этот сборник. Ну скажите на милость, что общего у истории про эсэсовца-убийцу, ставшего израильтянином и сионистом, с рассказом про девочку-подростка, встретившую в городском парке сказочную принцессу. И, наконец, где инопланетное вторжение и где Куликовская битва? Где античная Троя, так подозрительно похожая на наше время, и где мистическое переплетение миров, связанных неосязаемой энергией. Но, возможно, все же есть что-то общее между этими, такими разными, историями. Если кто-нибудь сможет это заметить, не поленитесь сообщить мне. А пока что, не судите слишком строго... Да, еще одно... Иногда интересуются жанром этих произведений... Право слово - затрудняюсь. Может быть - крик души? Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-95543-1

© Рабинович М., 2020  
© ЛитРес: Самиздат, 2020

## Содержание

Предисловие	5
Перпендикулярное время	6
Ася	6
Михаил	10
Ася	13
Михаил	16
Ася	20
Михаил	23
Ася	26
Михаил	31
Ася	33
Михаил	35
Ася	36
Приговоренные к жизни	37
Больница "Ланиадо", Нетания, Израиль, 1998	37
Понары, Литва, 1942	44
Больница "Ланиадо", Нетания, Израиль, 1998	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Марк Рабинович

## Обо всем

### Предисловие

Я не случайно добавил к названию этой книги слова "обо всем". Мне и самому неясно, что объединяет произведения, включенные в этот сборник. Ну скажите на милость, что общего у истории про эсэсовца-убийцу, ставшего израильянином и сионистом, с рассказом про девочку-подростка, встретившую в городском парке сказочную принцессу. Нет у меня и не малейшей идеи о том, что связывает историю Алисы, вместо Страны Чудес попавшей в психиатрию, с рассказом трактирщицы из Испании 15-го века. И, наконец, где инопланетное вторжение и где Куликовская битва? Где античная Троя, так подозрительно похожая на наше время, и где мистическое переплетение миров, связанных неосязаемой энергией.

Но, возможно, все же есть что-то общее между этими, такими разными, историями. Если кто-нибудь сможет это заметить, не поленитесь сообщить мне. А пока что, не судите слишком строго...

Да, еще одно... Иногда интересуются жанром этих произведений... Право слово – затрудняюсь. Может быть – крик души?

## Перпендикулярное время

### Ася

Есть люди, не обладающие и толикой терпения. Во время любой поездки они вертятся и суетятся в машине, чертыхаются и нервничают, как будто это может помочь. Такие люди всегда вызывали в ней лишь смех и легкое презрение. Но сейчас Ася смертельной ненавистью ненавидела светофоры. Ведь каждый из них считал необходимым зажечься красным именно тогда, когда ее такси подъезжало к перекрестку, а зеленый включался лишь тогда, когда дорога за светофором была запружена транспортом и таксист успокаивающе говорил:

— Не беспокойся, солнышко, скоро будем на месте.

Таксиста она тоже готова была убить за этот спокойный тон и за эти слова, которые она не допускала в свое сознание. В послеобеденное время въезд в город был забит машинами и она пожалела, что не села на скоростной автобус, вместо того чтобы схватить такси. У нее просто не хватило времени на планировку маршрута и выслушивание советов мудрых телефонных приложений, которые всегда не учитывают какой-нибудь грузовик, застрявший в самый неподходящий момент на единственном ведущем в город перекрестке.

Полчаса назад, когда ей позвонили из больницы, она не заплакала и не закатила истерику, а быстро и деловито начала собирать сумочку и все сидящие на совещании, хорошо знающие ее, поняли, что спрашивать ничего не надо а надо помочь или хотя бы не мешать. Все же когда босс предложил подвезти ее в город, она быстро отказалась, не забыв поблагодарить. К сожалению она знала по опыту, что прежде чем направиться на стоянку он будет долго и занудно раздавать распоряжения, потом его остановят в коридоре раз пять-шесть, потом еще что-нибудь... А у нее уже не было сил на ожидание. И она заказала по телефону такси, которое и пришло, к счастью, через считанные минуты. Зато теперь они с трудом продирались сквозь пробки и она ненавидела и светофоры и таксиста и пешеходов, которые так и норовили сигануть под их машину заставляя таксиста непрерывно давить на тормоз и виновато улыбаться.

Наконец, они прорвались сквозь центр и начали подниматься по серпантину. До больницы было уже совсем близко, как вдруг ее такси уткнулось в хвост очереди очень медленно двигающихся и от скуки непрерывно гудящих автомобилей. Там, выше по улице, кто-то то ли разгружал что-то, то ли, наоборот, грузил, и машины с трудом разъезжались на узкой проезжей части. Бросив стошекеллевую бумажку водителю, и выскочив из такси, она помчалась вверх по улице. В догонку ей неслось:

— Береги себя, солнышко!

Но она не ответила, сберегая дыхание. В больницу Ася ворвалась зацепив по дороге какого-то малыша, немедленного ударившегося в рев, и быстро проскочила рамку детектора, который яростно завопил, возмутившись содержимым ее сумки. Но охранник понимающе кивнул, нарушая тем самым все инструкции, и она понеслась дальше. Туповатая девица в справочной никак не могла найти нужную запись и ее тоже хотелось убить, поэтому она с трудом удерживала в себе гневные слова на трех языках. Наконец девица, неожиданно оказавшаяся умницей, сообщила ей не только отделение но и палату и она помчалась к лифтам, которые, разумеется, застряли на верхних этажах. Потом она задыхаясь бежала по мрачным коридорам, заканчивающимся то лестницей, то ведущей в очередной коридор дверью. Больница была старая, достраивалась и перестраивалась великое множество раз, несуразные корпуса соединялись самым непредсказуемым образом, и через три коридора и пару лестниц она уже не понимала на каком этаже находится. Но вот, наконец, она добралась до второго терапевтического отделения и, замедлив шаг, вошла в указанную ей палату.

Первым делом она бросилась к его кровати и схватила Мишкину руку, в запястье которой была воткнута игла капельницы. Рука была теплая и она немного успокоилась. Но его глаза было закрыты, а монитор показывал что-то совсем непонятное. Тут она заметила, что комната была почему-то полна не то врачей, не то медработников и все они смотрели на нее. Она бросилась к пожилой женщине в самом чистом халате и начала задавать свои бестолковые вопросы, но врачиха блеяла что-то настолько невразумительное что это и на иврит-то не было похоже. Врачиху беззастенчиво оттер мужчина в зеленом и спросил:

— Госпожа Лисянски...?

Это была ее фамилия и она нервно кивнула. У мужчины было добрые глаза на выкате и огромный живот, который он гордо нес впереди себя раздвигая им коллег. Он посмотрел на монитор и объявил ровным, рокочущим голосом:

— Жизненные показатели в норме.

Тогда зачем же все это, подумала она. Зачем нужна игла в запястье? К чему эти непонятные цифры на мониторе? И почему так много врачей? Наверное все это было написано у нее на лице, и толстяк пояснил смущенно:

— Мы не знаем, что с ним. Он просто не с нами.

Как это не с нами, подумала она? Вот же он, я могу его видеть, могу держать за руку, могу... И тут Мишка зашевелился. Все бросились к нему и только она замерла и не шевелилась боясь спугнуть это робкое движение. Она лишь осторожно повернула к нему голову, но Мишкины глаза были по прежнему закрыты. Вдруг он тихо произнес, так и не открывая глаз:

— Соня Липшиц...

Какая еще Соня, подумала она? А он пожевал губами и прошептал:

— Маклина тридцать-сорок шесть...

И повторил:

— Маклина тридцать-сорок шесть, Соня Липшиц...

Ася изумленно посмотрела на толстяка и он многозначительно кивнул ей:

— Да, вот так каждые несколько минут...

И поймав ее недоуменный взгляд, пояснил:

— Каждые пять-десять минут он произносит эти слова. Кстати, кто такая Соня Липшиц?

Она недоуменно пожала плечами – никакой Сони она не знала. Хорошо еще, что доктор не спросил про странный адрес. А ведь Ася хорошо знала этот адрес, не могла не знать – это был адрес той ленинградской коммуналки, в которой она родилась и в которой прожила долгие годы. Последние годы перед репатриацией они жили там вместе с Мишкой, так что старый адрес был ему хорошо знаком. Но почему Соня? Там же не было никакой Сони, и в их небольшой по ленинградским меркам квартире никогда не жили Липшицы. Правда, согласно квартирной легенде, в маленькой комнатухе без окон жил в послевоенные годы какой-то милиционер, но вряд ли он был Липшицом, да и никакую Соню легенда не упоминала. Потом милиционер исчез, а комнату предприимчивые послевоенные жильцы переделали в ванную, на зависть соседним коммуналкам. С тех пор прошли десятилетия и Ася не представляла, что творится сейчас в доме 30 по улице Маклина, которой давно вернули ее прежнее название – Английский проспект. В свои нечастые приезды в Питер, она пару раз проходила мимо своего прежнего дома, но видела лишь перестроенный фасад и глухие чугунные ворота с домофоном на них. Сейчас же мысли путались от страха, одышки и усталости, но она упорно пыталась связать воедино таинственную Соню, полузабытый адрес и мужа, которого привезли сюда после того как он потерял сознание внизу на рынке. Однако собраться с мыслями ей не дали.

Внезапно в палату ворвались какие-то энергичные молодые люди и сразу началась невообразимая суета. Тащили таинственные приборы, протягивали странного вида кабели, подключали, переподключали, тут же что-то сожгли, и все это сопровождалось веселой руганью и шутками. Ася так и застыла с открытым ртом, но тут пришел кто-то начальственный, немед-

ленно на всех наорал, и докторов с Асей вместе выгнали в коридор, а суета продолжалась без них. Потом веселые молодцы исчезли, исчезло и начальственное лицо, а вместо них материализовались двое странных типов. Первый оказался мужчиной неопределенного возраста со скуластым грубым лицом, как будто вырезанным ножом из дерева. Асе он напомнил деревянного солдата из книги про Урфина Джюса. Был он высок, строен и не просто мускулист, а толи болезненно накачан, толи так же болезненно натружен, но только его обнаженные руки, не прикрытые неопределенного цвета гавайкой, было просто обвиты рельефно выступающими жилами. Жилистого сопровождало лицо мужского пола, представляющее собой его полную противоположность. Тело существа было округло, шарообразно и рыхло. На этом теле было водружено нечто напоминающее голову, снизу были приделаны такие же рыхлые ноги, имелись и пухлые руки, а вот талия напрочь отсутствовала. Эта пара антиподов попыталась войти в Мишкину палату, но не тут-то было. Оправившись, наконец, от шока, вызванного нашествием веселых молодцев, Ася сообразила, что Жилистый и Рыхлый по-видимому принадлежат к той же банде и храбро преградила им путь. Те без лишних слов поняли, что без боя им прорваться к Мишке не удастся и, поколебавшись, распахнули перед ней дверь. В палате уже никого не было, кроме мужа. Теперь, после изгнания докторов, было видно как много здесь свободного места и Ася удивилась, зная о перенаселенности израильских больниц. В углу громоздилась гора аппаратуры, мигали индикаторы, бежали непонятные цифры, но к Мишке, как она немедленно с облегчением убедилась, ничего не подключили, оставив его во власти обычного больничного монитора.

Мрачно взглянув на Жилистого и Рыхлого, она, не дожидая пока они сядут, потребовала:  
— Ну! Говорите!

Последовала немая сцена, в течении которой они нерешительно обменялись выразительными взглядами и, наконец, Рыхлый заговорил:

— Шалом и позвольте представиться госпожа Лисянски...

Прозвучали имена, а может и фамилии. но Ася их тут-же забыла, а эти двое так и остались для нее Жилистым и Рыхлым. Сами они тоже именами не пользовались. Жилистый звал напарника "Попай", что было по-видимому чем-то вроде дружеской кликухи, Рыхлый обращался к нему просто – "братан". Правда один раз Рыхлый назвал Жилистого "командиром", но тот так на него посмотрел, что Рыхлый осекся на полуслове и молчал минут пять, что было по-видимому для него подвигом. Название учреждения, которое они представляли, тоже не удержалось у нее в памяти, да и вряд ли они сказали ей правду. Из них двоих Рыхлый был чем-то вроде ученого, не то физиком, не то математиком, а может и тем и другим вместе. Жилистого Ася вначале посчитала "товарищем майором", но тот проявил качества, товарищам майорам недоступные: юмор и способность объяснять сложные вещи простыми словами. Последней способности напрочь был лишен Рыхлый и Ася зверела от его "торсионных полей", "горизонта событий" и прочей заумной мурсы. А объяснили они вот что...

Оказывается, как с грехом пополам поняла Ася, кроме нашего мира существует множество других миров, невидимых для нас. Не слишком данные нам в ощущениях, эти миры были "почти неосвязаемы", как выразился Жилистый после того как она напрочь запуталась в туманных объяснениях Рыхлого. Вот для обнаружения этого "почти" и служила загадочная аппаратура в углу. История с невидимыми мирами была мутной, заумной и Асю ничуть не заинтересовала, а интересовало ее то как все это связано с ее мужем и его загадочным состоянием. Рыхлый пытался объяснить ей это, но запутался в терминологии, которую ему так и не удалось адаптировать к уровню Асиных знаний. Хотя она и получила инженерное образование, но в этих вопросах ее компетентность не возвышалась над уровнем плитуса, и Рыхлый, совершенно обессилев от ее тупости, махнул рукой и предоставил аудиторию Жилистому. Тогда Жилистый, насмешливо посмотрев на Рыхлого и глумливо воскликнув – "Браво, Попай!" – объяснил все ясно и понятно. Оказывается, теория иных миров была разработана Рыхлым и его

командой на основе математических построений ("информационных абстракций" по определению Рыхлого). Причем хитрая аппаратура в углу и подобная ей техника еще ни разу ничего не зафиксировала, на нее лишь возлагали определенные надежды, да и то не слишком. Да, приборы были бесполезны, но тут ребята из группы Рыхлого/Жилистого вспомнили про пророков. Оказалось что чуть ли не все известные пророки и предсказатели проявляли свой дар предвидения далеко не всегда, а только в определенные моменты и эти моменты подозрительно точно совпадали с математическими выкладками Рыхлого. Он даже попытался, прервав объяснения Жилистого, показать Асе какие-то графики и формулы на своем ноутбуке, упоминая при этом Нострадамуса, Вольфа Мессинга и Кассандру, дочь Приама, причем Кассандра, по ее мнению, в этом ряду была явно лишняя. Но тут Жилистый предостерегающе воскликнул – "Попай!" – после чего тот осекся на полуслове и захлопнул ноутбук, виновато взглянув на Асю. Из дальнейшего она поняла, что не только известные провидцы, но и обычные люди умудрялись знать то, что знать они никак не могли и эти события укладывались в ту же теорию. "В пределах статистической погрешности" по выражению бесцеремонно влезшего в разговор Рыхлого. Происходило это всегда по разному: медиум мог впасть в транс, в кому или просто мог заснуть и видеть сны, а мог и оказаться "не с нами" по меткому выражению толстого доктора. Одно только было известно более или менее точно – время "события" как называл его Жилистый. Такое "событие" по их мнению произошло и с ее мужем. Именно поэтому примчались молодцы с приборами и именно поэтому Мишка лежал сейчас в отдельной палате.

Все это ее интересовало, как карася интернет, волновал ее только Мишка. Насчет него эти двое клоунов не смогли сказать ей ничего определенного, лишь Жилистый осторожно заметил, что из своих медиумов они до сих пор не потеряли еще никого. Рыхлый попытался поправить его, уточнив: "почти никого", но Жилистый немедленно заверил Асю, что "Попай так шутит!". При этом он напирал на слово "так", показывая напарнику такого размера кулак, что тот ступевался и, казалось бы, даже уменьшился в объеме. Становилось ясно, что надеяться надо не на них, а или на толстого доктора или на Всевышнего. В синагоге она последний раз была на Йом Кипур в позапрошлом году и поэтому решила поставить на доктора. И тут Мишка снова повторил:

— Маклина тридцать-сорок шесть, Соня Липшиц...

## Михаил

Город протянулся вдоль моря с севера на юг. Некогда он был пристанищем магрибских евреев, низкооплачиваемых и презираемых членов новоиспеченного израильского общества. Но когда прежние парии незаметно стали чиновниками, инженерами и парламентариями, изменился и город. Районы трущоб, разбавленные немногочисленными безликими торговыми центрами, вдруг обнаружили себя окруженными престижными высотными домами. Город вначале робко, а потом и стремительно стал вытягиваться на юг, стремясь быть ближе к веселому и богатому Тель-Авиву. На южной окраине вырастали новые, красивые районы с высотками построенными по последним строительным стандартам: с квартирами без смежных стен, с большими остекленными балконами, с красивым холлом внизу и с подземной стоянкой. В некогда безжизненном центре встали многочисленные гостиницы, фонтаны, рестораны и все чаще слышалась иностранная речь. Город превратился в модный курорт и его уже начали называть "израильской ривьерой".

На северной же окраине время остановилось где-то сразу после Шестидневной Войны. Здесь не было подземных стоянок и остекленных балконов как не было и панорамных окон. В старых квартирках, построенных для семей, не способных позволить себе кондиционер, были в ходу маленькие, подслеповатые оконца, призванные сберечь прохладу летом и тепло зимой. И здесь он жил на улице Диврей Хаим, жил уже второй десяток лет. Наверное лишь в этой, непрестижной части города, еще оставались немногочисленные малогабаритные квартиры с одной спальней и небольшим салоном-гостинной.

Маленький клочок города, ограниченный четырьмя улицами, не был огорожен заборами, но тем не менее представлял собой изолированный микрокосм. Здесь все знали всех, здесь покупали продукты в маленькой лавочке на углу, презирая огромные супермаркеты, здесь обсуждали все рождения, замужества и похороны. Его, с его русским акцентом и ашкеназских привычками, поначалу сторонились, но постепенно привыкли и даже стали угощать на Мимуну неизменными мофлетами, которые он терпеть не мог, но покорно ел, давясь жестким тестом. Ему было спокойно среди этих веселых, простых людей, которым, по большому счету не было до него никакого дела, как и ему до них. Их ненавязчивая приветливость, касалась его лишь слегка, поверхностно, не врывается в его личное пространство, в отличии от въедливого искреннего интереса бывших ленинградских, киевских, бакинских и парижских интеллигентов, селившихся ближе к центру.

От его дома до моря было рукой подать и берег представлял собой прекрасный песчаный пляж, но к нему еще надо было спуститься с высокого и крутого обрыва обрамляющего город с запада. С обрыва открывался изумительный вид на море, особенно на закате, когда набережную заполняли не только туристы, но и местные любители прекрасного. А вот для тех, кто хотел погрузиться в ласковые волны Средиземного моря, этот обрыв представлял собой одно лишь неудобство. Дальше, ближе к туристическому центру, городские власти построили широкие, красивые, хорошо освещенные лестницы и даже один лифт, а здесь к морю вилась узкая, осыпающаяся тропинка. Спускаться по тропинке было неудобно и даже опасно, зато по ней почти никто не ходил и это искупало для него все неудобства.

Если бы кто-нибудь спросил у него, любит ли он море, он ответил бы только недоуменным пожатием плечами. А почему бы им не спросить, любит ли он воздух, которым дышит? Море было для него чем-то неизменным, частью законов природы, как утренние рассветы и вечерние закаты. Поэтому оно не подлежало обсуждению. В Ленинграде, городе где он родился и вырос, тоже было море. Но это было совсем другое море, оно даже не было частью города и в городе было немало людей, никогда моря не видевших. Этот же город был невозможен без

своего моря, хотя и в нем начали появляться районы, отделенные от моря автострадой, железной дорогой и промышленной зоной. Живущих там людей он не понимал и жалел.

Он любил плавать, и делал это даже зимой, когда выпадали солнечные дни и можно было согреться выскочив из холодной воды. Летом же он ходил по тропинке почти каждое утро перед работой, исключая то время, когда к их берегам приближались жгучие огромные медузы, чтобы произвести потомство. Потом, через пару недель, медузы исчезали и море снова его звало. Он никогда не заплывал слишком далеко. Море было опасно: оно звало в себя прозрачной волной и узорами песка на дне, а потом пыталось заглотить, забрать в себя коварными течениями, которые могли незаметно, но мощно уволочь к горизонту. Море не допускало шуток, но само любило подшутить и, порой, шутило жестоко. Берег на их участке был диким пляжем, спасателей там не было, и однажды он попался в ласковую западню.

Наверное его отнесло к югу береговым течением, потому что он хорошо знал свой участок пляжа, где не было в воде ни ям, ни опасных водоворотов. А сейчас он не мог доплыть до совсем недалекого берега. Ноги уже касались дна, но коварные волны раз за разом отбрасывали его вглубь, убирая из под ног ненадежный грунт и подсовывая новые и новые ямы. Руки начали уставать, а на берегу никого не было в этот прохладный день и некому было осторожно, боясь показаться смешным, крикнуть заветное: "Помогите!" Он даже подумал, что надо бы перестать бороться и начать глотать морскую воду. Тогда решатся все проблемы разом: не надо будет думать о не слишком чистоплотных интригах молодого ведущего инженера на работе, о еженедельной уборке квартиры, о налогах и о штрафах за парковку. Только мама расстроится, подумал он, но и она быстро утешится потому что у нее есть его успешный младший брат. У брата была красивая и ухоженная вилла в Нижней Галилее, с красивой и ухоженной женой и с красивой и ухоженной собакой. А самое главное – на вилле обитали три внука, его племянники, живущие там в дополнение к жене и собаке. Племянники не были ни ухоженными ни красивыми, а были они веселыми и расцарапанными о колючки разбойниками. Вот они-то и будут жалеть его больше всех, но они же первые и забудут, в силу своего все забывающего возраста. Поэтому можно было перестать бороться и подарить себя очередной грязно-зеленой волне, но ему совсем не хотелось глотать противную соленую воду и он продолжал барахтаться из последних сил, пока его наконец не вытащили серфингисты.

Эта история не напугала его и не вызвала водобоязни, он лишь стал еще более осторожен. Чтобы вволю поплавать, надо было всего лишь пройти полосу прибоя, который ревел, бросался пенный волнами, но был совсем не опасен. За полосой прибоя море было спокойней. Волна могла быть неторопливой, и тогда, какой бы высокой она не была, он мог легко проплывать между медленно поднимающимися и опускающимися стенами воды или подныривать под набегающий неспешный вал. Так было, когда бриз дул с берега, оставляя морскую гладь неспешно колыхаться. Это было хорошее море. Сегодня море было плохим, дул морской бриз, ломающий волны, которые могли наброситься вдруг с совершенно неожиданной стороны. Поэтому он плывал недолго, неохотно отрабатывая ставший традиционным ритуал.

.... На камне около его тропинки сидела женщина. Он прошел почти вплотную к ней, вначале не обращая внимания, как вдруг что-то заставило его остановиться. Женщина неподвижно смотрела на море, устремив взгляд в одну точку там среди волн. Ему даже показалось, что она чего-то ждет и он невольно посмотрел туда же. Но там не было ни перископа подводной лодки, ни ручного дельфина, а только все тоже постоянное в своем безразличии море и все те же рваные волны. Тогда он взглянул на нее и задумался. Он полагал себя тугодумом, но только не тогда, когда это касалось знакомств с противоположным полом. Здесь, считал он, самое главное – это быстро принять правильное решение. Бывали и ошибки. Однажды, много лет назад он совершил такую ошибку. Было ему уже под сорок и надо было создавать семью. Почему надо было? Он и сам не совсем понимал, но уступил жалобам матери и подспудному страху одиночества. Затем последовал рассудочный брак с красивой и порядочной

женщиной. Через два года он понял что расчеты хороши своей точностью, а вот ошибка в них подобна ошибкам при расчете баллистической траектории. И вот уже ракета летит в никуда, а то и поражает свои же позиции. Его позиции продержались четыре года и даже выдержали переезд в Израиль. Не сразу он понял что такое жизнь с совершенно чужим человеком. Были попытки уйти, были ссоры, были и измены, и, наконец, все кончилось этой маленькой квартирой около моря и одиночеством. Потом у него были многочисленные женщины: молодые, не слишком молодые, и его ровесницы. С молодыми было просто: все начиналось легко, продолжалось быстро и заканчивалось ночью в его квартире. Девиц привлекал его отработанный годами шарм записного ловеласа и надежда на изощренный секс с опытным мужчиной. Следующим утром все обычно и заканчивалось к обоюдному удовлетворению. Разговаривать с девицами было не о чем да и незачем. Менее молодые женщины искали замужества и поэтому с ними было сложно. Те из них, кого не разочаровала маленькая квартира в непрестижном районе, все время выжидающе смотрели на него коровьими глазами, поэтому разговаривать с ними тоже было не о чем. Расставаться с такой подругой было тяжело, болезненно и он таких женщин избегал. С дамами его возраста было проще так как они уже прожили значительную часть жизни и не собирались в ней ничего менять. Такие женщины не претендовали на многое, находясь в поисках либо развлечений либо отдушины от унылой повседневной рутины. Именно таких женщин он предпочитал и именно так выглядела на первый взгляд незнакомка на тропинке.

Пыльная тропинка под обрывом – не самое лучшее место для знакомства. Потом в течении многих дней и ночей он спрашивал себя, что заставило его тогда сбиться с шага, а потом и остановиться. Несомненно, это было ее лицо, но почему? Удивительной бывает магия женских лиц для мужчины. Эти лица бывают красивые и не очень. По красивому лицу ты проводишь внимательным, но ненавязчивым взглядом, получая эстетическое наслаждение, сродни созерцанию яркой, эффектной картины в музее или породистой собаки на выставке. Потом оно немедленно забывается, не задерживаясь в избирательной памяти. Лицо же некрасивое мелькнет и исчезнет, не привлекая внимания и не требуя усилий. Но бывают и иные женские лица, редко, но бывают. Такое лицо сбивает с толку, заставляя споткнуться в растерянности. Такой женщине потом долго смотрят вслед и вспоминают еще день или два или три, а сердце при этом щемит, как будто что-то неизмеримо важное прошло и исчезло навсегда. Не подумайте, что это любовь! О, нет! Это всего лишь мечта о любви.

И вот он споткнулся и сбился с шага увидев ее лицо. Такое с ним бывало несколько раз заставляя потом мучительно думать о том, что могло бы случиться, но не сбылось. Как и раньше он мог оправиться, отвести взгляд, пройти мимо и укрыться там, в своем унылом одиночестве. Вместо этого он молча сел рядом с ней. Она не оторвала взгляд от моря и некоторое время они сидели молча. Потом она спросила:

— Вы здесь живете? – как будто была уверена, что ей ответят по-русски а не недоуменной ивритской или французской фразой.

— Да – сказал он – я местный. А вы?

Так начался их разговор и там же, на тропинке они и познакомились. Ее звали Соня.

## Ася

Соня Липшиц... Соня? Внезапно она вспомнила где ей уже приходилось слышать это имя. Это произошло много, очень много лет назад и было это в том самом доме на улице Маклина. Она тогда только-только пришла домой после лекций и едва успела переодеться в домашний халатик, как в коридоре послышался голос соседки:

— Аська, выйди на минутку, а то у меня бульон закипает. Тут какую-то Соню спрашивают!

Она подскочила к двери босиком по холодному полу, не успев даже найти куда-то засунутые тапочки. За дверью стоял Мишка, молодой, растерянный, еще незнакомый и тарасил на нее свои такие знакомые теперь глаза. Сейчас Ася вспомнила, как они стояли друга против друга и глаза их вели между собой понятный только им двоим разговор. Стоять босиком было безумно холодно, но она боялась пошевелиться и опомнилась только тогда, когда соседка закричала из кухни:

— Да закрой же ты дверь, всю квартиру простудишь!

Тогда она, вероятно, посчитала это недоразумением и загадочное имя моментально исчезло, испарилось из ее памяти, вытесненное появлением Мишки в ее жизни, а теперь вот всплыло снова. Так вот оно что! Он искал Соню Липшиц, а нашел ее, Асю. Чем же была для него эта таинственная Соня? Потом она неоднократно спрашивала его об его прежней жизни и прежних женщинах, но он всегда прикладывал палец к ее губам и отвечал:

— Ты моя первая и последняя женщина...

... а потом делал такое, что она сразу забывала про свой вопрос. Да, ему всегда удавалось сделать так, что она моментально забывала обо всем на свете. И откуда он только знал, где на ее теле те тайные чувствительные места, при легком прикосновении к которым сладкая судорога волной проходит по всему телу, достигая пальцев ног? Иногда она думала, что он только для вида пишет свою диссертацию с непонятным названием. На самом деле он изучал ее тело, создавая невидимый докторат по анатомии любимой женщины... Диссертацию он так и не дописал.

Вначале они встречались у ее подруги, уехавшей на лето к матери. Когда-то Ася пережила без особых потерь свою первую любовь, а потом и вторую и как раз примеривалась к третьей. Но тут Мишка ворвался в ее жизнь как танк в незащищенный город и спутал все планы. А ведь она считала себя опытной женщиной – какая детская наивность! К сожалению, получая ключ от заветной квартиры, она опрометчиво пообещала подруге "все потом рассказать". Когда пришла пора расплачиваться, Ася вначале стеснялась и рассказывала неохотно, но постепенно увлеклась и рассказала многое. Она поведала и про причуды зрения, когда предметы расплывались в воздухе и таинственным образом снова появлялись, про танцующую в воздухе люстру, про потолок, окрашивающийся в невозможные цвета как экран на дискотеке. Рассказала она и про то как от легких покусываний мочки уха возникают невыразимо приятные спазмы в пальцах ног и про то, что бывает, когда ласковые губы нежно касаются ее ладошки. И рассказала она еще про многое, многое другое, чему не учат даже в подворотне, а не только в школе. Ей бы следовало быть поделикатней, ведь в глазах подруги уже яростно светилась неприкрытая зависть. Но Асю понесло, и когда подруга с надеждой спросила:

— Ну а потом он, небось, отвернулся к стенке и захрапел...?

...Ася вспомнила как Мишка отнес ее на руках в душ и вымыл там осторожно и ласково – как ребенка, возмутилась и все это и рассказала, не забыв упомянуть о том, что может случиться от нежных касаний мягкой, хорошо намыленной губки. Это было жестоко и она смущенно замолчала, вспомнив, что бывший муж подруги частенько ее поколачивал, а нынешний любовник женат. Но было уже поздно и Ася осталась и без лучшей подруги и без квартиры.

Потом Мишка нашел комнату в общежитии, которая и служила им пристанищем месяц или два. Однажды, любуясь на ее темный силуэт на фоне окна (здесь не было для нее халата, а стесняться она постепенно перестала), он тихо прошептал:

— Ты прекрасна!

Она сделала вид что не расслышала и тогда он стал перечислять ее черты, не забывая о самых мелких. Это было бы похоже на урок анатомии, если бы не эпитеты, которые он добавлял к описанию. Там были и "милые пальчики" и "изящные ушки", и чего там только не было. Пройдя по ней от макушки до мизинцев на ногах, он перешел к ее характеру и привычкам. Теперь последовали: "нежные манеры", "терпеливость", "незлобливость" и многие другие дифирамбы, которые она в душе считала незаслуженными, но принимала с благосклонностью коронованной особы. И тут он заявил:

— Но есть у тебя и очень большой изъян...

У нее? Изъян? Она готова была возмутиться, но он торопливо пояснил:

— ... это твоя фамилия!

И пристально посмотрев на нее, как бы примеряя на нее что-то, возмущенно заявил:

— Ася Коновалова!? Это же никуда не годится!

Откровенно говоря, эта фамилия ей никогда не нравилась, вызывая ассоциации с животноводством, а подруги и знакомые нередко над ней издевались, предлагая записать в ветеринарную академию без конкурса. Но как он посмел!? И она почти уже совсем решила обидеться, когда он, задумчиво подняв взгляд к потолку, заявил:

— Но, пожалуй, это можно исправить...

И увидев ее недоуменный взгляд, пояснил:

— Например, Ася Лисянская звучит много лучше! Да, что там – это звучит просто прекрасно!

Она не сразу поняла, о чем он, а сообразив наконец, яростно набросилась на него и сильно укусила за плечо. Это и было ее "да!"

Быть Асей Лисянской ей понравилось. Мишка гордился своей фамилией и утверждал, что является прямым потомком знаменитого мореплавателя по отцовской линии. По материнской линии он был козном, но об этом она узнала много позже, перед Израилем. Молодая семья Лисянских поселилась в тех самых полутора комнатах, в которых Ася выросла и в которых жила до того с матерью, отчимом и братом. Как-то незаметно для нее с Мишкой, ее и его родители произвели грандиозный многоходовой размен. В результате, мать, отчим и братишка переселились в малюсенькую однокомнатную квартирку в пригороде, а мишкины родители переехали на окраину города. Молодые остались в коммуналке на Маклина и здесь же родилась их дочка, а вот сын появился уже в Израиле. Квартира на Маклина 30 возникла стихийно в незапамятные, но послереволюционные времена, когда анфилады комнат, принадлежавших ранее известным врачам, адвокатам и статским советникам, делили перегородками по самым сумасшедшим планам или без плана вовсе. Вот и у них немаленькая по ленинградским меркам кухня была, по всей видимости, прирезана из соседнего дома, потому что на нее вели четыре ступеньки вниз. Именно до этих ступенек осторожные мамы не позволяли доезжать ребятишкам на трехколесных велосипедах, боясь их появления на кухне вверх тормашками. И именно через эти ступеньки прыгала на кухню бесшабашная соседка Светка, сопровождая свой прыжок истошным криком:

— Мадера а-ля фикус, фикус а-ля мадера!

Что это означало, никто не знал, но Светке прощали все за ее веселый и покладистый характер. И вообще, коммуналка на Маклина была дружной и ее обитатели недоверчиво слушали фантастические, по их мнению, рассказы про отдельные выключатели в туалете, плевки в кастрюлю с борщом и схватки за жизненное пространство на кухне. У них же на кухне стоял общий телевизор, неизвестно кем пожертвованный, и по нему они все вместе смотрели вече-

ром новости. Новости были обычные, советские, но других не было, а вечерние посиделки сближали. Это напоминало коммуны... Котлету со сковородки, оставленной на плите, мог взять любой голодный ребенок или даже взрослый. В кладовке, поделенной по-братски, ставили бражку и потом гнали из нее самогонку, которую и потребляли сообща по случаю значительных событий. Ася помнила, как после рождения дочери Мишка пришел к роддому с Аркадием, светкиным мужем, оба пьяные и бесконечно довольные собой. Увидев в окне четвертого этажа Асю со свертком на руках, они начали упоенно танцевать на снегу, неумело выделявая замысловатые коленца, а когда она, отдав ребенка нянечке, открыла форточку, дружно заорали:

— Она красавица!

... хотя за стеклом ничего невозможно было увидеть. Но это было позже, а за год до этого случилась их первая серьезная размолвка. Ася еще не оправилась от выкидыша, была раздраженной и несправедливой. Она не помнила, что было причиной и не помнила как шел разговор, лишь запомнилось ей, как стоп-кадр в кино, Мишкино помертвевшее лицо, когда она выкрикнула ему злое: "Ну и уходи, если хочешь!" И он ушел, осторожно закрыв за собой дверь, а она еще некоторое время кричала ему вслед злые и бессмысленные слова, уже чувствую как рушится ее мир и сжимаются стены. Потом не было сил вдохнуть воздух в легкие и, наверное, в мозг не поступал кислород, потому что в глазах сразу стало темно. Она упала на колени и так, не поднимаясь, подползла к двери, через силу заставляя себя дышать. Его не было тридцать семь минут и все эти бесконечные минуты она просидела под дверью, заклиная дверную ручку повернуться и впустить его обратно. Ручка наконец послушалась и вошел Мишка с бутылкой молока в авоське. Он увидел ее на полу, увидел ее глаза побитой собаки, потемнел лицом и что-то такое то ли сделал, то ли сказал, но она вдруг обнаружила что давно уже воткнулась своим мокрым носом ему в грудь, тяжело сопит и слушает, как он повторяет:

— Никогда! Ты слышишь? Никогда!

Они стояли в луже молока и ей было бесконечно хорошо. Было совершенно ясно, что никогда он ее не оставит, пусть она и не надеется. Даже умереть он собирался только на следующий день после нее, чтобы она не оставалась одна. И с того дня она больше не боялась. Он мог обидеться, уйти к друзьям, задержаться на работе, уехать в командировку и даже завести другую женщину (храбро уверяла она себя), но она знала, что он обязательно вернется. Бывали и ссоры. Иногда они не разговаривали и день и два, но она знала, что стоит ей только посмотреть на него виноватыми глазами, как объяснять уже ничего не понадобится, а нужно будет только тихо сопеть у него на груди и слушать как бьется его сердце.

Сейчас она тоже не боялась – ведь он вернется. Он обещал!

## Михаил

Соня приехала в гости к родственникам. Это были то ли ее племянники, то ли семья ее двоюродной сестры – он не запомнил. Он вообще не запомнил многого, о чем они говорили и там на тропинке и позже, в стремительно пролетевшие дни. Родственники жили в унылой и безликой Хадере, но исправно возили ее по стране, показывая древности, церкви, крепости и многое другое, чем была богата его маленькая но гордая страна. На берег моря она попала случайно, сев на автобус до Тель-Авива, но по неясной ей самой причине выйдя на центральной автостанции его города. Там она спросила дорогу к морю и быстро вышла на набережную, пробравшись через нагромождение магазинов, ресторанов и турагентств, но это было неправильное, парадное море и она пошла вдоль выложенной плиткой пешеходной дорожки на север, надеясь, что официоз когда-нибудь кончится и начнется настоящее море. Так оно и случилось.

Но это же не так, обиделся он за свое море! На самом деле, стал он горячо доказывать, морю безразличны и красиво украшенные набережные и широкие лестницы, ведущие к нему. Оно, море, всегда одно и то же, будь это центр города или глухая окраина. Зато море не любит порты и волнорезы, отравляя их окрестности мусором и тиной. Соня, не улыбаясь, смотрела на него и казалось ожидала продолжения. Тогда он рассказал ей про море то, что не рассказывал никому. Там было и про то как море может заморозить и заманить и горе тому, кто поверит его неверной, обманчивой ласке. Рассказал он и как зимние шторма перемешивают морское дно, бросая на берег бурые от песка волны. Рассказал и о том как волны и приливы двигают берег, то размывая то намывая его. Он рассказывал об огромных пугливых акулах, о дельфинах, выбрасывающихся на берег, о рыбе молот, которая ищет зимой тепла у водосбросов электростанции. Он много чего рассказывал, и много чего приврал, но и эта ложь было частью правды о море. Никогда он не рассказывал такое другому человеку и не думал, что когда-нибудь расскажет, сберегая это для себя как берегут воспоминания о заветном или интимном. Много позже он осознал что их познакомило и сблизило море, и это было правильно, потому что именно оно и было источником и первопричиной всего в этом мире.

Потом, так и не избавившись от пакета с мокрыми плавками, он водил ее по городу, показывая наивные скульптуры на набережной, рыбаков на берегу, карусель на площади и многочисленные фонтаны. Они стояли около одного из них, который внезапно выстреливал струи воды, обливая зазевавшихся детишек. Этот веселый фонтан напомнил ему петергофские "шутихи" и тут выяснилось, что она живет в Питере, в городе его детства. Он перестал удивляться совпадениям и повел ее по центральной улице, где на парикмахерских и рестораничках пестрели французские надписи. Его город и так был облюбован французскими евреями, а тут еще участились теракты в Париже и Марселе, антисемитская направленность которых стыдливо замалчивалась лицемерными французами, и знакомые по песням Дассена интонации зазвучали все чаще на улицах его города. Соня останавливалась у витрин и с удовольствием читала французские слова, которые настолько обогатили русский язык, что частенько были узнаваемы.

Ей все же надо было добраться до Тель-Авива чтобы навестить там кого-то из знакомых и он проводил ее до автостанции, взяв обещание встретиться завтра днем. На его предложение забрать ее из Хадеры, она ответила категорическим отказом, собираясь снова довериться ненадежному общественному транспорту. На работу в этот день он так и не пошел и даже не позвонил, а на следующий день сказался больным. Он думал о встреченной им сегодня женщине всю дорогу пешком домой, долгую и приятную из-за этих мыслей, которую он не хотел сокращать автобусом. Он думал о ней весь вечер уже понимая, что то что происходит не вписывается в рамки незначительной интрижки. Ему стало страшно и он подумал что не сумеет заснуть. Но нет, он заснул сразу и спал как сурок, наверное чтобы приблизить завтрашний день.

Задолго до назначенного времени он уже был на автостанции и, стоя там, где автобусы выпускали пассажиров, искал ее среди выходящих из каждого приходящего автобуса. Но она пришла с совсем другой стороны. Оказывается, кто-то из ее хадерских родственников подвез ее и, после долгих уговоров, согласился оставить одну. Надо было решать, куда ее вести и он, не долго думая принял решение, которое принимают многие мужчины в такой ситуации: накормить.

В городе было великое множество ресторанов, кафе и кондитерских. Если каждый четверг вечером, думал он, посещать только один из них, то потребуется целая жизнь, чтобы обойти все. Среди ресторанов были и изысканные французские, и бесшабашно-веселые русские, и макаронно-соусные итальянские, бакинские, грузинские, магрибские, йеменские и каких-только там не было. Были в городе и степенные кондитерские с обилием взбитых сливок и пышных булочек всевозможной формы. Над морем нависали обязательные рыбно-креветочные заведения, в которые время от времени врываются молодые ортодоксы, чтобы поскандальить по поводу недостаточного кашрута. В мрачных переулках без помпезности и рекламы размещались подозрительные харчевни непонятного, а для многих наоборот – очень понятного, назначения. И, наконец, при гостиницах находились степенные, стильные рестораны и бистро с наборами бутылок над стойкой похожими на органные трубы и бесплатными завтраками для постояльцев.

Кормили в городских ресторанах буквально всем. В некошерных террасах над морем подавали местную рыбу: неизменную в средиземноморье дораду, называемую здесь денисом, горбыля-мусара, барабульку и, конечно, тилапию – рыбу Святого Петра. К рыбе прилагались креветки в сливочно-чесночном соусе, обжаренные в сухарях хвостики кальмаров и мидии в пряном соусе. В магрибских ресторанах, в народе именуемых марокканскими, кормили простой и сытной средиземноморской пищей, которая легко узнается от Валетты до Измира по обилию оливкового масла и размеру порций, рассчитанных на семейку Гаргантюа. В итальянских ресторанах бал правили макаронные изделия всех цветов и форм, не забыта была и пицца. В йеменских же харчевнях посетители спрашивали суп из бычьего хвоста, даже не заглядывая в меню. В чинных кондитерских властвовал венский штрудель и горячий шоколадный пирог. Ну а в русских ресторанах не обходилось без селедки под шубой, свинины в горшочках, водки и пьяных драк. В мрачных заведениях по темным переулкам еда была непонятной и вызывала мысли о синильной кислоте и цикуте. А при гостиницах кормили такой правильной едой, от кошерности которой пришел бы в восторг даже главный раввин царя Соломона, если бы, конечно, в те времена были раввины.

Народ в городские заведения общепита ходил разный. Террасы над морем посещали туристы из Европы и пожилые пары, неспособные, несмотря на происки раввината, забыть вкус креветок. В марокканских ресторанах сидели либо зажиточные семьи из бедных районов со своими четырьмя детьми и тещей, либо немногочисленные компании маклеров, совмещающие заключение сделки с сытным обедом. В итальянском ресторане обязательно сидела молодая парочка: девица уныло тянула из тарелки спагетти, а юнец лихорадочно проверял наличие презерватива в заднем кармане джинсов. В йеменский ходили всегда одни и те же: в основном мужчины, аккуратно размещающие между столом и стулом невероятных размеров живот сорокалетнего обжоры. На стульчиках в кондитерской можно было без труда найти аккуратных до отвращения старушек, всегда сидящих парами. В русские рестораны ходили русские и этим все было сказано. А в подозрительные харчевни нормальные люди вообще не ходили. И только в гостиничных ресторанах публика была пестрая и непредсказуемая, зашедшая туда поесть либо в поисках респектабельности либо от безысходности.

Презрев весь этот кулинарный спектр и наплевав на ресторанный изобилие, он повел Сою на рынок. Там, среди нагромождения мелких, неопрятных лавок, лавочек и лабазов, находилось заведение Гади. Такие предприятия общепита в городе не называли ни рестораном,

ни закусочной, а говорили просто – "дыра в стене". Гади, отставной прапорщик из пехотной дивизии "Голани", не предлагал изысков и кормил фалафелем. К шарикам из нута, извлеченным из фритюра, прилагались, как обычно, салаты и соленья. Помещали все это в свежую, пышущую жаром питу, которую выпекли минуту назад в соседней хлебной лавке. Для постоянных посетителей у Гади стояло два колченогих столика, окруженных пластиковыми стульями. Они с Гади стали друзьями после одного очень неприятного происшествия на границе с Синаем, о котором им запрещено было упоминать и которое они периодически вспоминали вдвоем. Поэтому у Гади, кроме тарелки фалафеля, нашлось блюдо хумуса, в котором на протертой пасте из нута и кунжута развалились распаренные зерна того же нута с неизвестными науке приправами. Подмигнув Соне, хозяин принес еще и тарелку с кусочками питу, обжаренными в оливковом масле и обильно посыпанными чабером.

Он с наслаждением наблюдал, как Соня, разломив питу, храбро зачерпывает ей и распаренные горошины и подозрительного вида пасту, которую иностранцы обычно пробуют с видимым отвращением. Тогда он рассказал ей, что это было не просто фалафельное заведение, нет, это был "тот самый фалафель". Во многих странах есть самое популярное блюдо, которое можно найти везде от столицы до самых до окраин. И в каждой стране оно другое. На Тайване это лапша с говядиной, в Луизиане – гумбо, в Эквадоре – савиче, а в России, пожалуй, беляши. Каждый уважающий себя гражданин такой страны знает единственное место где это блюдо делают лучше всего и для каждого из них это совсем другое место. Таким блюдом в Израиле служит фалафель. Поймай самого отъявленного гурмана из Северного Тель-Авива в его минуту слабости и он признается тебе в любви к фалафелю да еще и укажет заветное местечко.

Его фалафелем было заведение Гади. И Соня, которая никогда раньше и не нюхала хумуса, вписывалась сюда совершенно естественно. Она и кусок питу то держала так, как будто только и делала всю жизнь, что обмакивала ее в полужидкую пасту, не забывая подцеплять пластиковой вилкой разнообразные соленья, к острому вкусу которых он сам привыкал долгие годы. На прибывавших и уходивших посетителей она смотрела тем самым доброжелательно-вызывающим взглядом, который вырабатывается только годами жизни в этой стране. Она настолько принадлежала этому месту и этому городу, что Гади даже обратился к ней на иврите. Соня не смутилась и потребовала перевод. Оказалось, Гади сказал что она третья из русских на его памяти, которые понимают толк в фалафеле. Вторым был, конечно он, а первым – Ян Левинзон. Правда русская речь звучащая вокруг "дырки в стене" опровергала утверждение Гади, но с убежденным в своей правоте выходцем из "Голани" спорить было опасно. Не стали и они с Соней.

В его городе не было шедевров архитектуры, не было и первоклассных музеев, подобных Лувру и Эрмитажу. Поэтому он водил Соню по улицам города, показывая ей экзотические лавочки и экзотических людей. Они проходили мимо средиземноморских мужчин, которые одинаковы от Малаги до Анталии. Иногда ему, поездившему по миру, казалось что в маленьких кафешках Барселоны, Сорренто, Салоников и Акко сидят одни и те же пузатые дядьки в белых застиранных майках и бесформенных штанах и пьют неизменный черный кофе из одних и тех же стеклянных стаканчиков. А может быть так оно и было? Видели они и аккуратных русских старичков на раскладных стульях. Если прислушаться, казалось им, то можно услышать неспешный разговор о политике, и восклицания – О! Трамп, это голова! Иногда их останавливали разнообразные ортодоксы: и молодые и старые и худые и толстые, но одетые одинаково, как в униформу. Ортодоксы ненавязчиво предлагали пожертвовать на бедных, литературу Хабада и снова пожертвовать на бедных. Порой мимо них проходили, покачивая бедрами, эфиопские старухи в своих невообразимых национальных одеждах, сохранившихся, вполне возможно, со времен Царицы Савской. Их сопровождала чернокожая молодежь, которая когда-то, много лет назад, поражала своей худобой, а теперь была ничем не отличима

от обитателей Гарлема или парижских пригородов. На этих улицах говорили по-русски, по-амхарски, по-французски, по-английски и, иногда, на иврите. На них ругались, признавались в любви, воспитывали детей, делали всевозможные гешефты и жили быстро, открыто и легко. Он подарил ей этих, людей, этот город и это буйство жизни и она приняла его дар.

В конце концов, они вышли к морю, а куда еще можно было прийти в этом городе? На центральной площади играла восточная музыка, орали дети и сверкал разноцветными струями еще один фонтан. Тут они заметили, что наступил вечер. Тогда он внимательно посмотрел в ее глаза и она ответила на его немой вопрос:

— Сейчас мы пойдем к тебе...

Дальнейшее он помнил урывками, как будто его жизнь или по крайней мере его память потеряла цельность и стала чередой эпизодов. Он помнил как тряслись его руки, расстегивающие пуговицы на ее блузке и с мазохистским чувством подумал, что такого с ним не было со времен далекой юности. Помнилось и как он, у которого были десятки, если не сотни женщин, долго боялся дотронуться до нее, как последний неопытный старшеклассник. Потом Соня плакала, отвернувшись и он догадывался, почему она плачет, но не смог бы выразить это словами. Ему захотелось обнять ее и он немедленно это сделал и тогда ее тихие рыдания стали его плачем и его болью. Он помнил, как искал на ее теле места, которые еще не целовал и добрался до пальцев ее ноги. Он осторожно потянул за маленький мизинчик и ее тело выгнулось, откликаясь на эту ласку. Тогда он начал перебирать эти пальчики один за другим как скупой ювелир перебирает бесценные драгоценности, ведь для него это и были такие драгоценности.

Все оставшиеся им дни они провели вместе. По утрам они шли на море и долго сидели там на том же месте у тропинки, где и встретились. Он уходил поплавать, но не мог заставить себя заплывать далеко, потому что на берегу сидела она и ждала, а он не хотел заставлять ее ждать. Соня тоже пыталась подружиться с морем. Плавать она, знакомая только с холодной, неприветливой и враждебной ее городу Балтикой, толком не умела, но храбро попыталась прорваться сквозь прибой. Прорваться ей так и не удалось, потому что волны сбили ее с ног и закрутили в зеленой воде пополам с песком. Он вытащил ее на берег, мокрую, взεροшенную, смеющуюся и они долго лежали на теплом но уже не обжигающем октябрьском песке. Он искал ее руку и нашел маленькую ладошку, по которой, оказывается, так приятно было водить губами, слизывая песчинки. Ей было щекотно и она смеялась, а когда он научился нежно проводить пальцем по бугоркам над ее ладонью, она выгибалась и тихонько постанывала. Так могло продолжаться вечно, но вечно заканчивалась с наступлением темноты, и они шли в город, садились за столик в кафе. Он смотрел как она осторожно откусывает от шоколадного пирожного и у него становилось сладко во рту.

Уже стало несомненным, что так хорошо начавшаяся милая интрижка, этакий ни к чему не обязывающий роман превратился в свою противоположность, в то что он не решался назвать единственно правильным, обычным, но так трудно произносимым словом. Не обманывая себя, подумал он, ты знал это с самого начала, еще там на тропинке под обрывом.

## Ася

На второй день начали приходиться родственники и друзья. Утром забежала дочь и долго молча сидела обняв Асю за плечи. Потом она ушла на работу, так толком ничего не сказав, и Ася была ей за это благодарна. Позвонил сын из Беэр-Шевы и все порывался приехать, но Ася его долго отговаривала и, наконец, отговорила. Это был, несомненно, хороший признак, так как интуиция у сына была развита до предела и, если бы дело было по-настоящему серьезно, он примчался бы не слушая никого.

Таинственные Жилистый и Рыхлый не слишком ее беспокоили. Рыхлый возился с приборами в углу, но у него явно ничего не получалось и он уже несколько раз гневно замахивался на невинную аппаратуру, хотя до рукоприкладства дело пока не доходило. Жилистый часами тихо сидел в углу, поглядывая то на нее то на напарника и перебирая какие-то бумаги из своего пухлого портфеля. Однако с некоторых пор Ася начала замечать, что Рыхлый начал бросать на нее странные взгляды. Посмотрев на нее так пару раз он о чем-то долго шептался с Жилистым, все время поглядывая на Асю. Жилистый слушал его с видимым недоумением, иногда с возмущением вскидывая подбородок, а один раз даже покрутив пальцем у виска. Это ее насторожило, но не пробудило большого интереса, потому что Мишка по-прежнему был "не с ней", лишь время от времени повторяя всю ту же фразу про Соню.

Потом появилась мать, прилетела из Питера. Отношения с матерью у нее было непонятные. В свое время та приняла Мишку настороженно – уж очень стремительно тот ворвался в дочкину жизнь. Однажды, уже согласившись стать Лисянской, она привела его знакомить с матерью, отчимом и братом. Они сидела на диване и Мишка обнял ее за талию, но его рука давила ей на спину и ей было немного неудобно. Она осторожно пошевелилась и Мишка понял. Тогда его ладонь осторожно скользнула вверх по ее спине, ища правильное место, поднялась до "воротниковой зоны" и легла там легко и удобно, как будто всегда была здесь, в том единственном месте, где мягкой мишкиной ладони и полагалось быть. Это было так хорошо, что она зажмурилась от удовольствия. Увидев это, увидев их с Мишкой тайные жесты и услышав их разговоры полунамеками, понятные только им двоим, мама побледнела, отозвала ее в сторону и спросила свистящим шепотом:

— Ты с ним спишь?!

В глазах ее стоял ужас родителя, впервые заподозрившего, что ее ребенок может принадлежать кому-то другому, кроме нее. Ничего не понимающая Ася недоуменно ответила:

— Конечно!

... потому что действительно не понимала, как можно не делать этого с ее необыкновенным, единственным в мире мужчиной, от которого уже хотелось ребенка. Наверное была в ее голосе такая сила и такая убежденность, что мама внезапно успокоилась и даже улыбнулась Мишке. Позже, мать совсем смирилась с ним и даже стала называть Минькой, и все же какая-то недосказанность оставалась. Поэтому, а может и не поэтому, Ася отдалась от матери. Отдалению способствовал и их отъезд в Израиль, против которого мать категорически возражала, мотивируя это тем, что Асе нечего искать в еврейской стране. На это Ася гордо заявила себя "еврейкой по мужу" и обвинила мать в антисемитизме, хотя и понимала всю несправедливость этого обвинения.

Теперь мама сидела на краю Мишкиной кровати, но смотрела не на него, а на дочь. Так было всегда: она всю жизнь воспринимала зятя, как дополнение к дочери и Асе это казалось естественным. Но сейчас это показалось ей неправильным и Ася непроизвольно отодвинулась. В это время Михаил зашевелился и в очередной раз произнес свою фразу. Она давно привыкла к упоминанию Сони и улицы Маклина и не обратила бы на это внимания, если бы не мама. С ней произошла разительная перемена. Она подскочила так, как будто до этого сидела на

еже, но только сейчас обнаружила это, зажала обеими руками рот, как будто боясь выдать государственную тайну, а потом схватилась за сердце. Последнее не слишком напугало Асю, которая знала мамину привычку хвататься за свое весьма здоровое для ее возраста сердце по любому поводу, а также и без повода. Но в остальном мамина пантомима произвела на нее сильное впечатление и она даже обрадовалась, что Рыхлого и Жилистого нет сейчас в комнате, потому что тут, несомненно крылась некая тайна. Она строго посмотрела на маму и сделала вопрошающий жест подбородком. Та молчала, широко открыв глаза и сжав губы так, что они побелели. На Асю она старалась не смотреть, но это получалось у нее плохо. Подойдя к ней вплотную, Ася заглянула ей в прямо глаза и произнесла, отчеканивая каждое слово:

— Кто? Такая? Соня? Липшиц?

И только тут она заметила, что у матери дрожат губы и она, пожалуй, заплачет. Эта всегда уверенная в себе женщина выглядела сейчас такой старой и жалкой, что Ася тут же раскаялась в содеянном и зареклась задавать ей сегодня какие-либо вопросы. Но мама не заплакала, а ответила тихим, прерывающимся от волнения голосом:

— Это ты... – и посмотрела на нее мокрыми, виноватыми глазами.

Ася рухнула на стул, ошеломленная этим неожиданным признанием, и продолжала молча смотреть на мать, не в силах собраться с мыслями. Тогда та заговорила и говорила она неожиданные и удивительные вещи...

Оказывается, Ася действительно была Соней Липшиц. Подумать только, а ведь она и не знала фамилии своего отца. Мама всегда рассказывала о нем очень скупой и Ася давно решила для себя, что мать его не любила. Конечно, ей хотелось узнать об отце больше и она пыталась, но расспрашивать дома было бесполезно, а больше узнать было не от кого, так как вся отцовская родня погибла в войну. Потом мать снова вышла замуж, а Ася долго не могла примириться с появлением отчима и незаслуженно мучила хорошего человека. Как ни странно, ее примирило с ним рождение братика, после которого отчим оставил попытки найти с ней общий язык и всецело занялся сыном. Много позже, когда она уже была замужем и они с Мишкой приехали в гости, отчим выпил лишнего и разоткровенничался. Он выгнал из комнаты всех, кроме нее и долго и тяжело каялся в том, что так и не стал ей отцом, а ее брата любил сильнее чем ее. Ася взяла его за руку, посмотрела пристально в глаза (она научилась этому у Мишки) и твердо сказала:

— Ну и правильно!

Отчим немедленно протрезвел, успокоился и больше никогда не смотрел на нее виноватыми глазами.

Теперь же получалось, что именно ее отец и был маминной единственной любовью, а за отчима она вышла потому что он "хороший человек" и потому что еще хотелось рожать. Это и еще многое другое Ася услышала сейчас от матери, которая, захлебываясь слезами, рассказывала и пересказывала и приводила такие подробности, которые раньше вогнали бы Асю в краску. Ей тоже захотелось поплакать, поплакать об отце, которого она никогда не видела и поплакать о матери, которую была так жалко, что щемило сердце и было тяжело дышать. Но она боялась еще больше расстроить мать и держалась из последних сил.

Напоследок мать призналась, что записала ее Коноваловой, опасаясь за ее будущее с еврейской фамилией. Это оказалось легко, потому что они с отцом так и не были расписаны. Он был намного старше матери, "пожилой" по ее выражению, и умер внезапно как раз за день до Асиного рождения. Ася так и не поняла почему это произошло, а мать только повторяла – "война настигла" – и сразу начинала плакать. Что касается Сони, то это имя она должна была получить по желанию отца, но после его смерти мать испугалась непонятно чего, и так Ася стала Асей.

Они еще долго сидели обнявшись и мать тихонько плакала, выплакивая то что держала в себе на протяжении всей своей жизни. Сейчас они были близки как никогда ранее. А ведь

мы обе "еврейки по мужу", подумала Ася и внутренне усмехнулась. Потом мать осторожно провела ладонью по ее лицу и сказала:

— Ну, я пожалуй пойду. До свиданья... Сонечка!

И Ася догадалась, что мысленно мама называла ее так всю жизнь, но до сих пор не решилась произнести это имя вслух.

Мать уже давно ушла, уехала в аэропорт и ждала посадки в полупустом зале ожидания, а она, растерянная и взволнованная, все время думала о своем новом имени. Что в имени тебе моем? И что такое имя? В чем его магия? Соня, Сонечка... Она примеряла на себя это имя и оно ложилось на нее легко и удобно, как падает на тело только сейчас купленное легкое и красивое платье, размер которого повезло угадать. А что же Ася? Разве это Соня босиком встречала молодого Мишку? Любила? Рожала детей? Не спала ночами? Так кто же она теперь: Ася или Соня? Теперь придется жить двойной жизнью, подумала она с усмешкой. И тут ледяным холодом ее обожгла мысль – Мишка! Кого любит он: Асю или Соню? Но ведь это все равно я? А откуда вообще взялась Соня в его бреду? Ведь мать клялась всеми святыми, что ничего ему не рассказывала. Она почувствовала, что совсем запуталась и решила больше не думать о том, о чем думать было страшно, а главное – бессмысленно.

## Михаил

Он подозревал, что прошло сколько-то дней и сейчас уже, возможно, не октябрь, а ноябрь. Но считать дни не получалось, они просто шли и шли сами по себе и шли они слишком быстро. Первые дни они не разговаривали о ней, о ее семье и он не знал как и чем она живет. Позже, глухими ночами, когда не хотелось спать, она многое рассказала ему о себе. Она рассказывала на его маленькой кухоньке за стаканом полночного чая, рассказывала куря свою ментоловую сигарету у открытого окна в его некурящей квартире, и продолжала рассказывать на их тропинке у моря. Там был и рассказ о молодой девушке, ищущей любви, а находившейся секс, предательство и равнодушие. Был там и рассказ о мужчине который был настойчив, надежен, порядочен и великодушен, и она решила, что эти его качества могут заменить то, что она не могла ему дать. Были там истории об одиночестве вдвоем, о ссорах, об изменах из мести, которые должны были ее задеть, но не задевали и тогда приходилось изображать ревность. Рассказала она и о детях, которых она родила для этого другого мужчины. И внуки уже намечались где то чуть ли не за Полярным Кругом и в не менее далеком Ванкувере. Потом она еще много говорила о детях, о себе, о городе, в котором жила. Только о своем муже она больше не упоминала никогда – теперь это стало запретной темой.

Она выросла на улице Маклина, в западной части города, в старые времена известной как Коломна. Застроенная старинными доходными дома, характерными для центра Ленинграда, расположенная в минутах ходьбы от чинно-веселой Театральной площади, ее улица продолжала оставаться окраиной, внутренней провинцией, чуждой суеты Невского и прочих центральных проспектов. Тогда ее звали Соня Липшиц. Свою теперешнюю фамилию она не называла, да он и не спрашивал.

Она рассказывала много, наверное ей нужно было выговориться, уткнувшись носиком ему в грудь. Неожиданно его память начала страдать непонятной избирательностью. Некоторые из ее рассказов он помнил в деталях, четко и ясно, как будто это происходило с ним самим. Другие истории выпали из его памяти сразу, не оставив по себе и следа. Были и такие, что задержались, но не подборкой имен, фактов и дат, а смутным воспоминанием, неясным ощущением того, чему не было названия.

Он помнил ее рассказ о том, что отец умер давно, сразу после ее рождения, успев дать дочери выбранное им имя. Ему было уже много лет, мальчишкой он успел поголодать в Блокаду, заработал нарушение обмена веществ и всю жизнь принимал какие-то лекарства, которые однажды перестали помогать. Через несколько лет мать снова вышла замуж. С отчимом отношения у Сони не сложились, хотя он был несомненно хорошим человеком, отчаянно стремившимся найти с падчерицей общий язык, что было весьма нелегко, если не сказать – невозможно. Но после рождения брата все сразу стало проще: отчим начал отдавать свою неумную энергию сыну, а к Соне стал относиться спокойней. В это время мать отдалилась от нее, занятая сыном и Соня сблизилась с дедом, жившим неподалеку. Дед успел повоевать, но про войну никогда не рассказывал, немедленно замыкаясь в себе. Зато обо всем остальном он мог говорить часами, стараясь передать внучке все что увидел, услышал и узнал за свою длинную жизнь. Соня передала некоторые дедовы рассказы, но он ничего из них не запомнил.

Зато запомнились ее рассказы про коммунальную квартиру в доме номер тридцать на Маклина, в которую вход был со двора и надо было сначала пройти через всегда открытую дверь во всегда закрытых чугунных, кованых воротах. Их квартира была на третьем этаже и он помнил номер – сорок шесть. Ему казалось, что он уже где то видел эту обитую черным дерматином дверь с покосившимся номером на ней, но память подводила размывая границы между истинными и ложными воспоминаниями. Соня рассказывала ему удивительные истории про обитателей коммуналки, но и эти истории выпали из памяти, пропали и помнились

лишь непонятные четыре ступеньки ведущие куда-то вниз да милиционер, обитающий почему-то в ванной. Соня давно жила где-то за Невой, очень далеко от дома своего детства, и уже много лет не решалась зайти в чугунные ворота дома номер 30. Ей казалось, что этим она повредит воспоминаниям тех прошедших времен, когда еще ничего не произошло и все еще казалось возможным.

Она рассказала, что ее кровать была у окна, а окно выходило на улицу. По улице ходил трамвай, ходил допоздна и иногда перестук трамвайных колес под ее окном будил ее среди ночи, а иногда наоборот – убаюкивал. Этот трамвай и его неторопливый перестук стали неотъемлемой частью ее детства, как мороженое "сахарная трубочка" или школьная форма. Дед называл этот трамвай "бесшумным" и вначале Соня думала, что это насмешка. Но как-то дед рассказал ей про старые, безумно дребезжащие вагоны, которые он почему-то называл "американкой". И он вдруг вспомнил, что тоже, еще ребенком ехал как-то в таком трамвае с сиденьями из деревянных планок. Они тогда жили не так далеко от Маклина, в Прачечном переулке и за углом, по улице Декабристов тоже ходил трамвай, который действительно громко дребезжал, непрерывно звонил и его болтало из стороны в сторону на поворотах. Потом трамвайные рельсы сняли, улицу заасфальтировали, убрав остатки булыжника, а он еще долго жалел о звенящих и дребезжащих чудовищах своего детства. Видимо, для них обоих трамвай был чем-то вроде символа давно ушедшей юности.

У них было еще несколько дней. Однажды он повел Соню по набережной на юг, туда, куда они еще не заходили. Здесь начиналась зажиточная часть города, где реже слышалась амхарская речь, зато чаще звучала французская и английская. Среди элитных жилых высоток и немногочисленных вилл были разбросаны шикарные гостиницы. Около одной из них играла музыка и толпился народ. Они попытались подойти поближе, но молодой охранник преградил им дорогу:

— Извините, у нас здесь мероприятие – сказал он мягко, стараясь не обидеть хороших людей – Вы приглашены?

Они не были приглашены и им пришлось обходить толпу и столики по тротуару, слушая как охранник извиняется и благодарит их за понимание. В это время раздались веселые крики и звон стекла. Оказывается мероприятием была свадьба, и именно в этот момент жених раздавил ногой положенный по обычаю бокал. Он взглянул на Соню и она отвела глаза. Тогда он замолчал и молчал долго. Молчала и она и их молчание было красноречивее слов. Потом они пошли дальше на юг и набережная над обрывом все не кончалась и не кончалась. Вдоль нее стояли скамейки и на них сидели пары: молодые, не очень и совсем пожилые. Одни сидели в обнимку, другие держались за руки, иные просто смотрели друг на друга. И он позавидовал им черной завистью, но не молодым парам, а пожилым, тем что сумели разбить свой бокал в нужное время и с правильным человеком. А они опоздали, опоздали навечно, навсегда и было поздно что-либо менять.

Внезапно, на них выскочил парапланерист. Он вылетел совсем близко, наверное его вынес поток воздуха из-под высокого обрыва. Соня испуганно отпрянула и засмеялась.

— Извини – сказала она – мне надо передохнуть.

... и сев на скамейку, достала сигареты. Она курила красиво, осторожно пуская дым в наветренную сторону. А он думал, что они оба уже не молоды и старость совсем близко. Он осторожно обнял ее за талию, но его рука попала между ее спиной и скамейкой и ей было неудобно. Она осторожно повела плечами, он понял и выдернул было руку, но женщина перехватила ее и задержала в своей, виновато посмотрев на него. Тогда его рука пошла обратно и произвольно легла туда где по выражению его деда у нее был "загрибок", а по мнению умных журналов – "воротниковая зона". Ладонь легла удобно, как будто именно здесь было ее место. Он скосил глаза на Соню – она зажмурилась и стала похожа на маленького довольного

котенка. Тогда ему захотелось оставить там свою ладонь на долгие годы – навсегда, но ни у него ни у нее уже не было этих лет...

Теперь Соня уезжала... Он так и не понял сколько прошло дней, ночей и недель с ней, но вот наконец наступил тот миг, которого он боялся все эти стремительные дни. Самая ничтожная, самая безумная надежда всегда остается, думал он, надеясь, что час расставания не наступит ни сегодня, ни завтра – никогда. С этой отчаянной надеждой он наблюдал как и город и люди и море принимали Соню. Город вначале отнесся к ней настороженно и проверял: подсовывал камешки под босоножки и долго не зажигал нужный свет на пешеходном переходе. Но постепенно, увидев как она внимательно рассматривает облезлые дома, застывшие музейным напоминанием об экономических трудностях шестидесятых, как она весело морщит носик при виде плохо убранного мусора, как дает шлепка налетевшему на нее оголтелому пейзажному мальчишке, город вобрал ее в себя. Теперь ее светофор был всегда зеленым, машины уступали ей дорогу, а ветер обязательно налетал на миг чтобы брызнуть на нее водой из фонтана в жаркий полдень. Да и сам город подобрался, стал следить за собой и в нем стало чище. И улица Диврей Хаим признала Соню. Соседи, даже самые мрачные и подозрительные, стали приветливо здороваться с ней на второй же день и она отвечала спокойным "бокер тов", неизвестно как оказавшемся в ее лексиконе. Лавочнику в магазинчике на углу, который показывал на выставленные напоказ овощи и расхваливал их свежесть, она отвечала улыбкой и неизменным "тода", хотя не понимала ни слова. Море тоже ее приняло, хотя она и не прошла проверку прибором. Теперь волны не стремились сбить ее с ног, а наплывали мягко и неспешно, нежно поднимая ее и опуская. Иногда море шутило и посылало волну повыше, но она, приняв правила игры, вовремя подпрыгивала и промахнувшаяся волна разбивалась о песок, бессильно шипя.

Вспоминая это, он попросил помощи у города и у моря, понимая что это бесполезно и она не останется. А ведь он так истово желал этого, понимая в то же время, что останься она с ним, это была бы не его Соня. Его Соня не смогла, не сумела бы построить свою жизнь на осколках чужих жизней. Они оба опоздали встретиться, опоздали на целую жизнь, и с этим надо было смириться. Тогда он отпустил ее, отпустили ее и город и море. Соня еще находилась здесь, но ее уже не было в его жизни и люди это заметили. В один из дней его остановила у подъезда огромная толстуха неопределенного возраста, живущая в соседнем доме. В окрестностях ее считали колдуньей, и многие ходили к ней за помощью тогда, когда психологи, медицина или полиция оказывались бессильны. Побывавшие у нее дома утверждали, что в прихожей их встречал огромный попугай криком "эй, мудака!", а уж в глубине квартиры творились сущие чудеса. Колдунья посмотрела на него своими, действительно колдовскими, оливкового цвета глазами, взяла за руку и проникновенно сказала:

— Послушай! Она же – жизнь твоя! С жизнью не шутят!

Тут она заметила его измученные глаза и потемневшее лицо, все поняла и ушла покачивая необъятными бедрами, позванивая бесчисленными браслетами и сокрушенно качая головой.

Теперь Соня уезжала, а он, город и море оставались. Она не позволила подвезти себя до аэропорта то ли не желая быть скомпрометированной в глазах родственников, а скорее всего – боясь самой себя. Они расстались на автобусной остановке и с тех пор он возненавидел автобусы, ставшие для него символом, да нет, даже не символом, а инструментом разлуки. Перед тем как подняться по проклятым ступенькам в салон, она, с непонятной смесью безысходности и надежды посмотрев ему в глаза, наклонилась к его уху и прошептала:

— Помни: Маклина тридцать, квартира сорок шесть.

## Ася

В палату вошли Жилистый с Рыхлым. Жилистый принес два бумажных стаканчика с очень вкусным черным кофе. Один он предложил ей, и Ася с наслаждением стала пить горький ароматный напиток, хотя обычно предпочитала латте. Рыхлый жевал какой-то подозрительный сэндвич и выжидающе смотрел на нее. Дожевав, он смахнул салфеткой крошки со рта и немедленно заявил:

— Ну, посмотрим что тут у нас...

Подойдя к груде оборудования в углу, он долго возился с ноутбуком, подключая его то там, то здесь, что-то рассматривал, но, похоже, ничего обнадеживающего не увидел. Тогда он пнул ногой один из безвинных приборов и произнес нечто, что на русский Ася перевела бы сакраментальной фразой:

— Мы пойдем другим путем!

Но другого пути у него под рукой не оказалось и он плюхнулся в кресло, одновременно шаря рукой по больничной тумбочке. Наверное, ищет еще один сэндвич, злорадно подумала Ася. Жилистый все время украдкой поглядывал на нее, как будто ждал чего-то, и она сообщила, что занятая матерью и размышлениями о Мишке и Соне, не задала подозрительной парочке никаких вопросов, как будто ее не интересовали ни другие миры, ни таинственные предсказания. Ей и на самом деле было не слишком интересно, но от нее явно ждали вопросов и она решила не разочаровывать Жилистого, который не сделал ей ничего плохого и даже напоил вкусным кофе. Поэтому, допив кофе, она поинтересовалась механизмом предсказаний. Ответил ей Рыхлый. Не найдя второго сэндвича, и развалившись в кресле, он упоенно вещал:

— Видите ли Ася, там, в невидимых мирах, время течет по своему...

Наверное, после первого сэндвича он расслабился и теперь не злоупотреблял терминологией. По крайней мере сейчас она понимала почти все из некогда заумных объяснений Рыхлого. Он рассказывал, например, что время в иных мирах может быть обратным нашему, так что их "потом" это наше "прежде" и наоборот. У нее всегда было большое воображение и Ася живо представила себе "потустороннего" старика, становящегося молодым человеком, потом ребенком и исчезающего, наконец, в материнском чреве. Увидев, что она улыбается, Рыхлый ехидно заявил:

— Но это, Асенька, лишь примитивная модель, для чайников.

Оказалось, что его команда ученых разработала несколько возможных моделей течения времени в этих потусторонних сферах. Было там и медленное время, когда у нас проходили года, а у них мгновения. Было там и быстрое время, когда каждая наша секунда соответствовала их векам. Но больше всего ее заинтересовала "перпендикулярное" время. Этим термином Рыхлый назвал такую модель, в которой для наблюдателя в нашем мире там, за границей измеряемого, все происходило одновременно, потому что течение их времени было "ортогонально" развернуто по отношению к нашему. Этого она уже понять никак не могла, а Рыхлый продолжал вещать о времени, закрученном в четырехмерную спираль, и о времени, разбитом на дискретные фрагменты и о прочем, что она уже не слушала. Причем, по его разумению, все это невероятные миры могли существовать одновременно и для каждого из них у него была разработана математическая модель с очень точными формулами. Тут вмешался Жилистый, заметивший что его напарник слишком уж глубоко залез в математические дебри. Прервав его возгласом:

— Остынь, Попай!

...он напомнил Асе про пророков и предсказателей. Если верить его объяснению, то провидцы пользовались информацией из других миров, где будущее уже свершилось, хотя наше прошлое там возможно еще не начиналось. Одного он только не мог сказать – в каком из этих

миров пребывал сейчас Мишка и как его оттуда вернуть. А ведь ее интересовало только это, а отнюдь не какие-то там "диагональные" миры. Поэтому именно на этот вопрос она потребовала ответа. На это Жилистый заявил, что Мишка никуда не делся, потому что материальное тело переслать между мирами невозможно как в силу разности физических законов так и из-за энергетического барьера. Насчет последнего он пояснил, что связь между мирами требует невероятных затрат энергии и непонятно, что это за энергия и откуда она берется. Но ведь как-то Кассандра и прочие заглянули туда, удивилась она, иначе откуда у них неизвестные им до тех пор сведения? При этих ее словах Рыхлый возмущено хмыкнул, а Жилистый грустно процитировал:

— Есть многое на свете, друг Попай, что нашей философии не снилось!

... и, повернувшись к ней, признался:

— На самом деле, мы просто ни хрена не знаем!

А она, кажется, знала... Еще только услышав про гигантские уровни неизвестных науке энергий, она сразу подумала про Кассандру. Что двигало ей, этой молодой девчонкой, одной из множества принцев и принцесс, настроганных любвеобильным троянским царем от многочисленных жен. Что заставило ее бросить вызов богам в заведомо безнадежной схватке за участь родного города?

... Город превращался в дым и гарь: горело все что могло гореть и даже то что гореть не могло. Казалось, что горят черепицы, упавшие с крыш обрушившихся храмов, горят даже камни полуразрушенных, некогда казавшихся непобедимыми стен. Немногие ахейцы пробирались по заваленным мусором и трупами улицам, опасаясь огня и тщетно пытаясь найти еще незграбленный дом. Со стен сбрасывали тела последних защитников города и ненужных уже женщин, которыми успели вдоволь попользоваться бойцы Агамемнона и Одиссея. Детей угоняли в рабство длинной, извивающейся колонной через единственные сохранившиеся городские ворота. Детей было много, но не все дойдут до кораблей и не многим удастся выжить в тяжелом морском пути до далеких Киклад, Пелопоннеса и Итаки. Но малолетние рабы так дешевы сегодня, а цены на еду для рабов и лошадей в разоренной войной Троеде взлетели вверх, и поэтому маленькие неподвижные тела уже украшали придорожные арыки вдоль Портовой дороги. Видеть это было нестерпимо и она мечтала выколоть себе глаза, но это было невозможно, потому что руки у нее были связаны чьим-то ремешком от сандалия. Наспех изнасилованная нетерпеливым главнокомандующим, она забилась в угол колесницы Агамемнона, смотрела на эту картину невидящими глазами и думала, думала, думала... Она думала только о том, что надо было сделать, чтобы не допустить возникновения этого ужаса. Надо было, наверное, остановить Париса, поджечь его корабль или подослать убийцу к Елене. Но вид радостных, разгоряченных грабежами, кровью и женскими телами данайцев смутил ее. Нет, поняла она, не помогло бы! Эти нашли бы другой предлог чтобы дорваться до богатств Илиона, чтобы жечь, грабить и насиловать! Тогда, подумала она, надо было уничтожить их корабли еще в море. И она представила бронированную финикийскую эскадру, нанятую Приамом на последние деньги, представила горящими черные корабли ахейцев, представила Микены, выбирающие нового царя и Пенелопу, закончившую жизнь настоящей, а не соломенной вдовой. Представила она и подслеповатого поэта, благополучно спивающимся в притонах Пирея, потому что его слащавые и скучные стихи не пользуются спросом. Но вокруг нее горели не черные корабли, нет – горела ее Трояда. Тогда она бросила свое видение в неясное никуда, туда, где рыжая пятнадцатилетняя девчонка еще сможет найти в себе силы убедить тех, кто не хочет слушать. И тогда, надеялась она, хотя бы там не будет этого смрадного черного дыма, разрушенных стен и детских тел по обочинам дорог...

А что двигало Вольфом Мессингом, местечковым евреем выбравшимся из польских штетлов и ставшим подле сильных мира сего? Для чего он обивал пороги синагог и молил

выслушать его тех, кто не готов был выбраться из своего замкнутого мирка и кого ждала либо печь крематория либо топор соседа-католика?

... Их "виллис" стоял просев радиатором в кювет и капитан уже несколько минут, подобно Есенину, обнимал белую польскую березку, доверяя ей остатки своего обеда. Мимо, по шоссе, шла необстрелянная пехота и бойцы в шинелях б/у с заплатами язвили по поводу нетвердого на желудок офицера в фуражке с малиновым околышем. В другое время особист не замедлил бы их приструнить, но сейчас ему было не до того. В Майданеке он поначалу держался стойко, но когда им показали рвы, лицо его позеленело и, к удивлению Вольфа Григорьевича, приобрело человеческие черты, несвойственные по его мнению особистам. Сам Мессинг сейчас тоже дышал тяжело, заставляя себя вдыхать свежий воздух. Но июльский воздух пах не цветами и сеном, а гарью и мерзкой, сладковатой сажой, хотя лагерь они оставили далеко позади и это было несомненно лишь игрой воображения. А ведь там в покинутом ими Майданеке остались его отец и братья: либо во рву под немерянными слоями тел, либо пеплом, который выгребли из крематория. Поэтому Мессингу тоже хотелось сейчас обнять березку и биться об нее головой, чтобы заглушить воспоминания. Ведь тогда, перед войной, в мирной и зажиточной польской провинции он не сумел найти верные слова, пусть даже и жестокие, пусть даже и ранящие. Только теперь, после того что он увидел, у него появились эти слова, который могли бы заставить людей проснуться и бежать, бежать. А если бежать было некуда, то можно было взять оружие и умереть на пороге дома, а не в бесконечных, глубоких рвах. Но здесь все уже свершилось, и он сжимал зубы от бессилия. И тогда он отчаянно захотел отправить это знание туда в то непонятное место, где все еще возможно, где кто-то найдет верные слова и где глубокие рвы так и останутся пустыми...

И что, наконец, двигало Мишкой, искавшем Соню Липшиц на далекой улице Маклина? Этого она пока не знала, но было нечто общее между всеми тремя (про Нострадамуса она знала мало и поэтому сразу забыла о нем). Всех троих объединяла любовь, объединяла своей недоступной науке, неизмеряемой энергией. И не важно была ли это любовь к родному городу, к односельчанам, или к одной женщине. Это она и попыталась объяснить двум мужчинам, так внимательно слушающим ее, как будто она была по меньшей мере нобелевским лауреатом по физике. Она один только раз произнесла это заветное слово, затасканное тысячами бесконечных сериалов, упоминаемое все миллионами книжек в ярких обложках, но все еще не бесценное для тех немногих, которые произносят его редко и только глядя в единственные для них глаза.

Жилистый неуверенно сказал:

— Чушь собачья...

Тогда она возмутилась и рассказала им все: и про Мишку, и про то как холодно стоять на сквозняке без домашних тапочек, и про исчезающую и появляющуюся люстру, и про лужу молока, про маму и про Соню. На протяжении ее рассказа менялось лицо Рыхлого: из вначале скептического, оно стало задумчивым, а потом и мечтательным. Жилистый снова хотел сказать что-то язвительное, но посмотрев на приятеля, осекся, подпер подбородок рукой и продолжил внимательно слушать. Когда она закончила, Рыхлый задумчиво произнес:

— А что? Вполне возможно!

— Ты что Попай? – возмутился Жилистый – накурился не того? У нас тут наука, а не мистика, смею напомнить!

— Наука? – в свою очередь возмутился второй – Это ты про что? Случайно не про аппаратуру, которая ничего не в состоянии не только измерить, но даже зарегистрировать?

— Значит неправильно меряем! – не сдавался Жилистый.

— А вот теперь, братан, ты попал в точку – торжествующе заорал Рыхлый, да так, что не только Ася с Жилистым изумленно посмотрели на него, но на всякий случай прибежала и медсестра проверить все ли в порядке. Лишь один Мишка даже не пошевелился. Наслаждаясь все-

общим вниманием, Рыхлый начал объяснять. Каждый измерительный прибор, каждый метод измерения, говорил он, основан на том самом явлении, которое сам же и измеряет. Вольтметр, объяснял он, использует электромагнитную индукцию, то есть тот же электрический ток; барометр использует механическое давление, которое сам же и меряет; и прочая, и прочая. Увидев недоуменные лица слушателей, он тяжело вздохнул пораженный их тупостью и с видимым отвращением привел в пример весы, которым требуются тяжелые гири, чтобы измерить вес, а также линейку, протяженность которой позволяет измерять длину. Закончив с примерами он торжествующе посмотрел на Асю с Жилистым и по прежнему не увидел понимания. Вздохнув еще пару раз, он пояснил:

— Для измерения любви – торжественно заявил он – нужен прибор основанный на любви и работающий на любви, а не на электричестве и не на бензине.

Изумленные слушатели молчали, стараясь переварить сказанное им. Первым опомнился, как ни странно, Жилистый.

— Да ты Попай, совсем съехал с катушек! И как ты, интересно, будешь собирать такие приборы?

— Ты имеешь ввиду, где взять столько любви? – ехидно поинтересовался тот.

Сама мысль об измерении любви показалась Асе сомнительной, если не сказать – кошунственной. Зато ей начал нравиться сам Рыхлый, да и его завиральная идея вызывала уважение. Она даже попыталась представить себе мир где энергия любви будет служить людям. Например, подумала она, уют там будет нагреваться от нежности в семье, а самолет взлетит только если пилот влюблен. Пожалуй, такой мир ей бы понравился. Жилистый тоже, казалось бы, задумался, а его лицо перестало быть деревянным.

— Что измерять-то будем? Удельную любвеобильность? Пропускную способность любить? А как ты назовешь единицы измерения? В одной джультетте сто беатриче? – Жилистый говорил, казалось бы, язвительно, издевался над Рыхлым, но на его лице не было насмешки. Рыхлый, похоже, хорошо знал своего напарника. Покосившись на него, он осторожно заметил:

— А сто джультетт не стоят и одной Хадассы, верно, братан?

Он произнес это в совершенно не свойственной ему манере: тихо и мягко, а Жилистый не ответил и лишь криво усмехнулся. Ага, подумала Ася, вот тот случай когда самые закоренелые физики становятся лириками, но благоразумно ничего не сказала. И тут Мишка в очередной раз напомнил им про улицу Маклина и Соню.

— Приблизительно восемнадцать байтов – непонятно выразился Рыхлый, глядя на Мишку. но Жилистый, отвлекшись от мыслей о неведомой Хадассе, его кажется понял. В ответ на недоуменный Асин взгляд он, вздохнув (наверное об Хадассе, подумала она), пустился в объяснения. По его словам для передачи данных между мирами требовались огромные затраты энергии ("Л-энергии", как немедленно стал именовать ее Рыхлый). Поэтому передавать удавалось ничтожные крохи информации, что неоднократно вызывало недоразумения. Стену между мирами пробивали либо отдельные слова, либо неясные образы. Наверное именно по этой причине катрены Нострадамуса были невняты, Вольф Мессинг не всегда понимал то что видел, а Кассандре так и вообще никто не верил. Возможно, предположил подключившийся к обсуждению Рыхлый, то небольшое, что проходило через барьер, было выстрадано пославшими его, вызывая невероятные выбросы Л-энергии. А вот информацию менее ценную, вроде цен на рыбу из Эгейского моря или результатов футбольных матчей, передать не представлялось возможным, так как вряд ли ктонибудь сможет набрать достаточно Л-энергии на такую ерунду.

А как же Мишка, подумала она? Значит для него это имя и этот адрес были самым важным? Постой, а почему для него? Для кого же? Кто передал ему эти байты бесценной информации? Он сам и передал, поняла она. Это был тот "потусторонний" Мишка, для которого самым важным в жизни оставался этот адрес. Наверное, он не мог пойти туда... Может быть уже не было такой улицы, а то и города, или там уже не жила девушка, так далеко запикивающая под

кровать свои домашние тапочки. Сам он не мог это сделать, но сумел передать подсказку ее Мишке. Как это произошло? Приснившийся странный сон? Шепот в подсознании? Это было уже не важно. Важным оставалось то, что ее Мишка услышал и, наплевав на все сомнения, на предрассудки, на материализм, впитанный с молоком матери, на возможные насмешки, пошел на ничем не примечательную ленинградскую улицу и поднялся на третий этаж чтобы увидеть в проеме дверей босоногую Асю, которая оказалась его Соней. Теперь ей стало тревожно за того, другого Мишку, который совсем один оставался в своем страшном мире. По видимому, в том мире не было темного силуэта на фоне окна, ладошки, которой можно коснуться губами, как не было и лужи молока на полу и маленького сморщенного личика за стеклом на четвертом этаже роддома. И многого, многого другого, совершенно необходимого, не было в том неправильном мире. Потом ей стало страшно и за весь тот несчастный мир, лишившийся мишкиной Л-энергии, перешедшей к ней: сначала на улицу Маклина, а потом и в этот город на склоне горы. Но оказывается, это еще не был настоящий страх... Потому что внезапно она подумала о том, что могло случиться не получи ее Мишка этих восемнадцати байтов, этой невозможной телеграммы из будущего. Вот тут ей стало страшно по-настоящему, до могильного холода в тяжело застучавшем сердце.

## Михаил

Ее больше не было в его жизни. Оставались лишь медленно тускнеющие воспоминания да этот адрес на улице Маклина. Он думал о том, как тогда, десятки лет назад, много раз проходил он по ее улице и заходил в чистенькую, пустоватую кафешку на углу выпить стакан бледного кофе и съесть полусохшую ватрушку. Он мог бы зайти и в дом 30, подняться на третий этаж, позвонить в дверь, на которой наверное было несколько звонков, и под одним из которых было написано "Липшицы". А может быть там был один звонок и надпись: "Липшицам три звонка"? Он нажал бы на нужную кнопку или позвонил бы три раза, тщательно считая звонки, и она бы открыла ему, а уж он бы сумел понять, почувствовать, как нужна ему именно эта женщина. Но тогда, много лет назад, он прошел мимо чугунных ворот, не повернув головы, а может быть он проходил там много, множество раз и каждый раз мимо. Она могла встретиться ему в и синагоге, куда он ходил с друзьями раз в год на Симхат Тора, но из глупой гордости, а может и из-за смущения он никогда не поднимал глаз на галерею, на женскую часть, а ведь она наверняка была там. Они могли бы встретиться в одном из многочисленных ленинградских театров, на набережных, в узких переулках залитых солнцем или заваленных снегом. Могли бы, но не встретились.

Однажды он решил и поехал в тот город. Но Ленинграда больше не было – вместо него он увидел холодный город Санкт-Петербург. Не было и улицы Маклина – ее снова переименовали в Английский проспект. Но дом 30 стоял там же где он, по видимому, находился и в Ленинграде. Вот только вход во двор был заперт и дверь в воротах уже не открывалась, защищенная блестящим кодовым замком. Он бы мог обманом пробраться внутрь и подняться на третий этаж, но не решился. Больше всего он боялся увидеть под номером 46 на месте обитой дерматином облезлой двери, новенькое бронированное чудовище, скрывающее за собой замечательные результаты евроремонта. Тогда он уныло пошел по направлению к Театральной, но внезапно остановился, ощутив странное ощущение, подобное дежа-вю. Вначале он не мог понять в чем дело, а потом увидел ровное, гладкое асфальтовое покрытие от тротуара и до тротуара, понял и грустно усмехнулся. По совиной улице уже не ходили трамваи! Теперь ему больше нечего было делать на бывшей улице Маклина. Можно было еще поискать Соню в этом чужом городе и это, наверное, было возможно, хотя он и не знал ее фамилии. Но он знал, что опоздал на невозвратные тридцать лет, и потащился обратно, в аэропорт, а потом в середине полета малодушно захотел, чтобы у самолета отказали сразу оба двигателя. На кресле перед ним сидел ребенок, девочка лет трех. Она обернулась и долго молча смотрела на него между кресел огромными, все понимающими глазами. Тогда ему стало стыдно.

И он возненавидел этот неправильный мир, в котором его бестолковая жизнь была уже прожита и прожита без нее. Такой мир не имел права на существование, а если и существовал, то по ошибке и эту ошибку следовало исправить. Но наверняка существовал другой, правильный мир, где Соня родила детей ему, где он всегда мог вернуться, открыть дверь и за этой дверью будет она. И этот другой мир не мог, не должен был быть так несправедлив. Но ему, этому правильному миру, надо было помочь, подсказать, чтобы вовремя зазвонил дверной звонок в квартире номер 46 дома номер 30 по улице Маклина. И он думал об этом все оставшиеся ему дни. Он думал об этом каждым унылым утром собираясь на невыносимо скучную работу. Он думал об этом заплывая все дальше и дальше в море, но море не принимало его и он возвращался на унылый, постылый берег. Он думал об этом и в тот день, когда оказался за рулем светло-зеленого "Рено", несущего его куда-то по дорогам северной Италии.

Наверное была причина, по которой он оказался здесь, в окрестностях озера Гарда. Он мог бы подумать и понять, вспомнить что он делает в этой совершенно посторонней и равнодушной стране. Но он думал об обитой черным дерматином двери на третьем этаже и думать

о чемнибудь ином ему не хотелось. Западная сторона озера упиралась в отвесную скалу и внутри этой скалы проходило шоссе длинным, извилистым туннелем с огромными нишами, пробитыми в толще породы и открывающими вид на озеро. Асфальт был хорош, и он разогнался до непозволительной скорости, когда внезапно защемило сердце и руки на руле перестали слушаться. Машину повело в сторону, бросило через жидкий бордюр и выбросило через нишу, ободрав левое зеркальце. Хотя его руки непослушно висели на руле, мысли его неслись в голове так четко, как будто вся сила покинувшая руки устремилась в голову, в миллиарды ячеек памяти. У него было еще три-четыре секунды до того как превратиться в дым и копать разбившись о прибрежные скалы и в эти секунды он думал о том единственном, что ему оставалось в этой жизни. Пока текли эти бесценные секунды, он успел почувствовать как пересекаются миры, и время то разрывается на куски, то смешивается в один клубок, где все на свете происходит в единый миг и где все еще возможно. Потом время развернулось обратно летящими навстречу скалами, но прежде чем это произошло, он успел прошептать:

— Маклина тридцать-сорок шесть, Соня Липшиц...

## Ася

Она продолжала думать о том коротком сообщении, той невозможной телеграмме, что пробила непробиваемую стену и попала к адресату с такой точностью, как будто ее доставил самый лучший в мире почтальон. Теперь она понимала, откуда Мишка знал, что ей нравится когда целуют ладошку, или когда осторожно тянут, один за другим, пальчики у нее на ногах. И еще многое, многое другое знал о ней ее Мишка, такое, что она и сама не знала о себе. Все же неправ был Рыхлый и колдовской информационный пакет был длиннее восемнадцати байтов, содержа в себе еще что-то помимо шести заветных слов. Она хотела предупредить, что его формулы могут быть неверны, но постеснялась рассказывать про ладошку и пальчики. Надо надеяться, думала она, что он все поймет сам, когда будет искать Л-энергию для своих новых аппаратов...

— И вот еще что, Соня... — осторожно начал Жилистый, даже не заметив как он ее назвал, доставая пачку разноцветных бумаг. Были там и голубые и розовые листочки и было на них что-то напечатано где крупным, а где и мелким шрифтом. Запинаясь на каждом слове и не глядя ей в глаза Жилистый объяснил, что все это надо подписать, причем обязательно на каждом листе и еще в нескольких местах, которые он пометил галочками. Текст на листочках был составлен на том невероятно запутанном диалекте иврита, которым в полной степени владеют только адвокаты. да и то не все. Те немногие фразы, которые она смогла понять. обещали невнятные кары за разглашение чего-то сродни "торсионным полям" Рыхлого. Ася подумала что Жилистый все же оказался "товарищем майором", но в его гуманной израильской версии, и начала подписывать. Она подписывала лист за листом уже не пытаясь прочесть напечатанное, а лицо Жилистого становилось все более брезгливым и жалким, как будто он презирал себя за то что вынужден был делать.

Внезапно Мишка пошевелился, но это не было обычное его шевеление, заканчивающееся прочтением заветного адреса и заветного имени. Нет, это тяжело ворочался мужчина, просыпаясь после долгого, тяжелого и беспокойного сна. Тогда она, бросив разноцветные листки на пол, метнулась к кровати и увидела, что его левый глаз открыт. Правый глаз он открыть не смог и поэтому казалось что человек хитро щурится. Он посмотрел на нее незнакомым взглядом и тихо спросил:

— Соня?

— Да, это я – вырвалось у нее.

Кто этот человек, с ужасом думала она? И кто я? Вопросы, на которые не было ответа, судорожно копошились внутри и рвались наружу, грозя взорвать череп. Ей казалось, что сердце перестало биться, дыхание сперло, воздух не поступал в легкие и помутилось в глазах. Сейчас я умру, подумала она, и ей было все равно. Но тут человек на кровати закрыл левый глаз и приподнялся на локтях с закрытыми глазами, потом открыл оба глаза и с удивлением посмотрел на иглу в руке, на монитор и на приборы в углу. Затем он остановил взгляд на ней и, как ей показалось, бесконечно долго и пристально смотрел на нее. Жилистого и Рыхлого он не заметил. Наконец, в его глазах что-то промелькнуло, он моргнул два раза и снова спросил:

— Аська?

Вот теперь его глаза были знакомыми мишкиными глазами. Ответить она не смогла, потому что слезы потоком вырвались наружу и она зарыдала, уткнувшись в его такую знакомую ладонь от которой пахло незнакомым лекарством. Потом он гладил ее по голове и говорил нежные слова, и ей стало так хорошо, что она зарыдала еще сильнее, на этот раз от счастья. А ведь раньше она и не подозревала, что плакать может быть так хорошо.

Спустя час или два, а может и спустя много, много часов она все еще сидела на стуле во все той же больничной палате. Жилистый возился со своими разноцветными листками, а

Рыхлый что-то лихорадочно выстукивал на своем ноутбуке. Вроде бы они спрашивали ее все эти часы и, наверное, задавали многочисленные вопросы, но она не помнила ни их вопросы, ни свои ответы, потому что за занавеской снова спал ее Мишка, повернувшись на бок и сорвав с себя провода монитора. Прибегали врачи и медсестры, долго суетились, но Мишка открывал сонные глаза и заявив – "Я сплю" – снова начинал сопеть носом. Тогда от него отстали.

Теперь она наконец поняла, что означают загадочные слова – "перпендикулярное время". Именно сейчас она жила в нем, в этом странном времени, которое было ортогонально всему и всем: и толстому доктору, и симпатичной медсестре, и дежурившим у подъезда больницы таксистам, и маме, и даже детям. В нем, в этом времени сейчас находилась лишь она да так знакомо храпящий мужчина за занавеской. Жилистого и Рыхлого тоже не было в ее времени, они это поняли и засуетились. Жилистый начал лихорадочно собирать голубые и розовые листки, а Рыхлый с треском захлопнул свой ноутбук. При этом они все время смотрели на нее. Очень странно смотрели на нее эти двое... Жилистый глядел выжидающе и даже робко, он больше не был похож на деревянного солдата, а лицо у него вдруг стало мягкое и рыхлое, как будто он взял его взаймы у своего напарника. Рыхлый, наоборот, смотрел спокойно и уверенно, как будто он решил уже все проблемы и вывел наконец свою заветную формулу. Потом они повернулись и ушли, причем Жилистый все время оглядывался, а Рыхлый ни разу не обернулся. Уходя вдаль по коридору они становились все меньше и меньше, пока их не проглотила дверь лифта. После их ухода, похожего на бегство, Ася прижалась лицом к холодному стеклу и долго следила за тем, как эти двое шли по автостоянке к своему серому "Хюндаю". Ей было хорошо видно как Жилистый внезапно остановился и начал рвать голубые и розовые листки. Он рвал их, и злые слезы текли по его некогда такому волевому, а теперь – растерянному лицу, а Рыхлый тихо смеялся. Отсмеявшись, он обнял Жилистого за плечи и повел к машине, потом заурчал мотор и они исчезли навсегда. На потрескавшемся асфальте остались розовые и голубые клочки и ветер подхватил их, закружил и разбросал по ветровым стеклам запаркованных "Тойот", "Хюндаев" и "Шкод". Там они и остались, подобные рекламным листкам, скупым гимном тому, перед чем бессильна самая точная аппаратура и что не в силах описать самые умные формулы.

## Михаил

Озеро, даже очень большое – это далеко не море. Однако и тут бывают волны, порой более неприятные, чем в океане. Здесь волна ударяется о скалы и, отраженная, сталкивается с другой, набегающей волной, создавая бурлящую мешанину, способную укачать даже самого просоленного морехода. Инспектор не был опытным моряком и недолгий переход на катере от пристани в Рива-дель-Гарда вымотал его напрочь. Да и предстоящий осмотр изуродованных в аварии тел не сулил приятных ощущений. Но профи – всегда профи, невзирая на самочувствие и предпенсионный возраст, и он нарочито бодро спрыгнул с носа катера, разумеется потянув при этом ногу.

Все было как обычно: деловитые патрульные, хладнокровные и спокойные спасатели, бесполезные уже медики и зеваки, непонятно как оказавшиеся на бесплодном берегу – наврное сумасшедшие рыбаки. Недолгий осмотр и опрос свидетелей здесь внизу и наверху – на трассе, показал обычную картину то ли злоупотребления алкоголем, то ли внезапно возникших медицинских проблем. Ничего, вскрытие покажет. Смущал только полусторевший заграничный паспорт непонятно какой страны. Вот этим ему и придется заняться, но и это не проблема в Европе, где давно уже смешались все национальности. Можно было закругляться, но что-то было не так, его смущало нечто необычное, ощущаемое где-то далеко, на самой границе подсознания. Внезапно он понял, что было причиной его неосознанной тревоги – он не чувствовал смерти. Инспектор не был закоренелым мистиком как не был он и упертым материалистом, допуская существование того, что современная наука не способна была ни объяснить ни даже распознать. За годы работы сначала в уголовной, а потом – в дорожной службе, он сталкивался много раз со смертью и был убежден, что у нее есть своя аура. Он сам ощущал ее каждый раз, когда осматривал очередной труп на обочине дороги или в темных переулках. Сейчас же смерти не было. Это не укладывалось ни в какие рамки и он иронично предположил, что обгоревшее тело, все еще сидящее в покореженном “Рено”, сейчас встанет, улыбнется и попросит прощения за причиненные неудобства. И все же смерти не было, зато было нечто другое, совершенно другое. Инспектор, в глубине души считавший себя сильным медиумом, ощущал какую-то странную атмосферу. Эти ощущения он не встречал ни в темных переулках, ни на обочинах дорог и в тоже время они были ему смутно знакомы, вызывая давние, прочно забытые воспоминания. Так ничего и не вспомнив, он отогнал ненужные мысли и направился к берегу.

Катер с трудом карабкался на волну, медленно продвигаясь к пристани, но теперь инспектор не чувствовал дискомфорта. Волны изменились, они стали больше, намного больше, но уже не болтали катер, а плавно поднимали его и не торопясь бережно опускали. Возможно, поменялся ветер, но только – заметил инспектор наметанным глазом – что-то странное происходило сегодня с озером. Казалось, оно перестало быть озером и вело себя как море, не швыряясь рваными волнами а колыхая огромные пологие валы. Изменился даже цвет и ему подумалось, что если сейчас зачерпнуть забортной воды и лизнуть ее языком, то почувствуешь вкус соли. Оторвавшись от неизвестно откуда взявшихся загадочных мыслей, инспектор неожиданно вспомнил, что там на берегу около пристани он видел цветочный киоск. Надо будет набрать букет гвоздик жене, подумал он, она очень любит гвоздики, а я ведь так давно не дарил ей цветы.

## Ася

Город растекался по обоим склонам горы, врезающейся в море острым клином, и спускался к воде густой сеткой дорожных серпантинов и пересекающих их крутых лестниц. Больница находилась высоко на склоне и ей надо было спуститься вниз к скоростному автобусу, который увезет ее домой, в недалекий пригород. И вот теперь она шла вниз по лестницам, высоко подняв голову и ни на кого не глядя. Редкие встречные провожали ее долгим взглядом. Мужчины, завидев ее летящую походку, сбивались с шага и стояли в растерянности, не понимая что с ними происходит. Потом они вспоминали ее в течении нескольких тревожных дней и ночей, а после этого забывали навсегда. За эти дни ими было написано две симфонии, раскрыта одна тайна природы и созданы восемь поэм, одна из которых впоследствии прогремела. Женщины, и молодые и не очень, встретив ее на лестнице немедленно поправляли прически, долго смотрели на себя в карманное зеркальце и сходили с ума от зависти. А она быстро шла вниз не считая ступеньки и не замечая никого, гордая и красивая женщина, жена человека, победившего Время.

## Приговоренные к жизни

### Больница "Ланиадо", Нетания, Израиль, 1998

Как ни отмывай, как ни дезинфицируй каждый квадратный сантиметр, все равно в больнице остается слабый, едва уловимый, но явственный запах. Вот человека приводят в комнату со светлыми стенами, дают порцию разноцветных таблеток, колют иглами, мнут умелыми руками. Тогда человек выздоравливает и быстро покидает светлую комнату стараясь не задержаться ни на минуту более чем нужно. Он торопится, его подталкивает тот едва уловимый, на уровне подсознания, запах. Павел Семенович называл его про себя "запахом безнадежности". Возможно, думал он, его оставили те, кто ушел отсюда в свой последний путь. Должно же хоть что-то остаться от человека. Павла Семеновича этот запах не беспокоил. Да и может ли игра подсознания смутить кадрового офицера, правда уже бывшего? Не смущала его, полежавшего, в свое время, в гарнизонных госпиталях, и переполненная палата. Он не так давно жил в Израиле, но был наслышан о том, что в стране почти не строят новых больниц, по-видимому – из-за нехватки земли под строительство. Поэтому больницы росли вверх и во все стороны, обрастая самыми немислимыми пристройками. Умиляли и эти коридоры, идущие в непредсказуемых направлениях, и лестницы, поднимаясь по которым, ты вдруг оказывался в совершенно другом здании, и верхние этажи, удивительным образом переходящие в подвалы. Да, эта архитектура была рассчитана на крепкую психику, впрочем, Павел Семенович на нервы не жаловался. Он вообще не жаловался на здоровье и справедливо считал себя крепким стариком, пока однажды их семейный врач, укоризненно покачав головой, не предложил Павлу Семеновичу, как он выразился – "немного понаблюдаться". Никогда бы он сам не согласился "понаблюдаться", но жена настояла, и вот он здесь, в палате на троих, в которую еще добавили одну кровать и уложили на нее пожилого араба. Араб был, судя по количеству навещающих его родственников, из самой глухой деревни, иврита не знал, общаться с ним не было никакой возможности. Да и не с моим ивритом общаться, думал Павел Семенович, оглядывая соседей по палате. Йеменец<sup>1</sup> средних лет на койке слева только постанывал после операции и почти все время спал. А последний сосед, получивший самую лучшую койку – у окна, тоже не подавал признаков жизни, отгороженный глухой занавеской.

Поэтому, когда дежурная медсестра, предложила ему перейти в другую палату, он не только не возражал, но даже обрадовался. Медсестра была симпатичной марокканкой средних лет, с которой Павел Семенович немного, в рамках приличия и знаний языка, флиртовал от скуки. Любой флирт, даже самый невинный, не исключает прагматического интереса. Был такой и у Павла Семеновича. От медсестры, которая ему явно благоволила, он узнал, что уже пришли его анализы, ничего у него не обнаружено, и от выписки его отделяет только паратройка формальных проверок, которые, однако могут занять день или два, а там уже наступит суббота, так что куковать ему здесь по крайней мере до воскресенья. Фамилию Павла Семеновича она выговаривала очень смешно – Буколов<sup>2</sup>, коверкая первую букву и делая ударение на последнем слоге. А может быть это, в своем роде, возвращение к истокам, подумал Павел Семенович? Ведь жена же объяснила, что их фамилия имеет греческие корни и созвучна слову "буколический".

– Какие истоки, Вуколов ты липовый? – тут-же подумалось ему, но на эту тему он запретил себе думать много лет назад и привычно загнал ненужную мысль поглубже в подсознание.

---

<sup>1</sup> "йеменец", "марокканец" и т.п., – еврей соответствующего происхождения.

<sup>2</sup> Пример неоднозначности чтения иностранных слов, написанных ивритскими буквами.

В новой палате было полутемно, и Павел Семенович, невольно замедлив шаги, вошел, даже прокрался, незаметно, стараясь не делать лишнего шума. И напрасно – новый сосед не спал, из совсем уже темного угла, в котором стояла его кровать, доносились негромкие гитарные аккорды. Немного хрипловатый голос напевал:

*Снег упал на базальтовый склон  
...поседел дома  
Я в недолгий мороз влюблен  
..на Голанах<sup>3</sup> – зима  
Запорошенный шрам скалы  
...снег не падает вниз  
Лишь пятнают его следы  
...обезумевших лис  
Ночь разбрызгала белый свет  
...на унылом плато  
И звезда покивает вслед  
...если что-то не то  
Голубые сугробов горбы  
...сторожат вдоль дорог  
И таинственный свет луны  
...необычен и строг  
Но недолгий зимы покой  
...не продлится и дня  
Полдень выплавит солнца зной  
...обнажится земля  
И последний снежок зимы  
...унесется один  
Посылая глоток воды  
...ожиданию равнин  
Я безмолвно печаль несу  
...эта ноша легка  
Снег упал на мою судьбу  
..и не стаял...пока*

Неизвестный больной, лицо которого скрывал полумрак дальнего конца комнаты, пел хоть и неумело, но с чувством, и Павел Семенович невольно заслушался. Слова песни певец произносил чисто и свободно, но натренированный слух старого артиллериста сразу определил, что русский исполнителю не родной. Акцент, почти незаметный, тоже был каким-то странным. Это не был ни говор хорошо поживших на Ближнем Востоке израильтян, которые тянут звуки в паузах, ни русский язык американских евреев, которые забавно смягчают окончания, ни акцент местечковых ашкеназов<sup>4</sup> со смещенными ударениями. Павлу Семеновичу этот необычный говор был, казалось бы, совсем незнаком и, в тоже время что-то смутно напоминал где-то там, на самом краю подсознания.

Но тут гитарные аккорды прервались и он поспешил сказать: "Не помешаю?"

– Мир входящему... – донеслось из угла.

– Мне сказали что вы сами хотели соседа. А то неудобно как-то. Была отдельная палата, а теперь....

---

<sup>3</sup> Голанские высоты

<sup>4</sup> Евреи европейского происхождения.

– Все верно. Видите-ли – как-то неуютно умирать в одиночестве – Это прозвучало неожиданно, и Павел Семенович машинально пробормотал:

– Ну что вы так. Выглядите вы совсем неплохо.

– Я тоже так думаю. Но у моих почек, знаете-ли, сложилось свое мнение. Впрочем, против трех-четырёх месяцев они не возражают – слышалось из угла. В голосе нового соседа сквозила ирония, направленная впрочем явно не на Павла Семеновича. Зато теперь стала понятной и довольно просторная палата на двоих и непонятное смущение медсестры, предлагавшей ему перевод. Отступить было не в привычках отставного артиллериста, да и не было у него никаких предубеждений, а уж умирающих он навиделся за свою долгую жизнь. К тому же сосед по палате был, очевидно, неординарным человеком, пробуждающим несомненный интерес. Совсем уже не зная, что сказать, Павел Семенович пробурчал:

– Извините...

– За что? Это вы извините, что так ошаршил. И, если не хотите соседствовать с умирающим, то я вас пойму и не обижусь.

Лицо говорившего оставалось в тени, но голос звучал четко и ясно. Акцент тоже, казалось бы исчез, или просто Павел Семенович перестал его замечать.

– Я вообще-то бывший военный, кое-где бывал и кое-что там видел – Павел Семенович понемногу приходил в себя – У вас-то, по крайней мере, руки-ноги на месте, простите за цинизм.

– Ой, да бросьте вы извиняться! Я хоть в армии и не служил, зато за 30 лет в стране тоже кое-что повидал – голос соседа был по прежнему ироничен, но это более не настораживало Павла Семеновича, скорее начинало казаться естественным.

– Ну тогда позвольте представиться – Павел Семенович Вуколов – пробормотал он, еще не совсем оправившись от смущения.

– Очень приятно – последовала небольшая пауза и сосед сказал:

– Имя вроде не совсем еврейское?

– Вообще-то я еврей по жене – эту формулировку Павел Семенович придумал сам и очень ей гордился как самым верным и коротким объяснением его статуса. Не будешь же всем и каждому рассказывать что жена у тебя еврейка, а сам ты гой<sup>5</sup> необрезанный. Последнее, впрочем было не совсем верно, и пару раз вызывало непредвиденные вопросы в гарнизонной бане, но на этот случай у Павла Семеновича была придумана весьма правдоподобная история про дедушку-татарина.

– Nobody's perfect<sup>6</sup> – слышалось из угла.

– Что, позвольте? – сказано было, похоже, по английски, а английским Павел Семенович не владел. В послевоенном артиллерийском училище языком “вероятного противника” по инерции считался немецкий, который давался ему легко, подозрительно легко, хотя курсант Вуколов всячески старался, чтобы его успехи в немецком не слишком бросались в глаза.

– Да так, ничего... А здесь вы по какому поводу? Тоже последняя остановка?

Разговор начал переходить в стандартное медицинское русло и Павел Семенович почувствовал себя увереннее:

– Нет, мне вроде-бы приговор отменили. Теперь жду результатов анализов. Вот вы сказали "последняя остановка"?

– Еврейский юмор, знаете-ли.

– Знаю, как не знать. Смех сквозь слезы. Только это и спасало нас в гетто – сказал Павел Семенович и тут же пожалел об этом.

– В гетто? В каком гетто? – в голосе соседа прозвучало и недоумение и любопытство.

---

<sup>5</sup> Не еврей (идиш, иврит).

<sup>6</sup> Заключительная фраза из фильма “Some like it hot” (1959). В советском прокате – “В джазе только девушки”.

– В вильнюсском гетто... – Павел Семенович подумал и решил, что отступать уже поздно. Да и все равно никто не поверит.

– Про Понары<sup>7</sup> слышали? – спросил он.

Голос соседа, еще недавно не по старчески звонкий, теперь звучал глухо и напряженно:

– Кто же не слышал – похоже, он отвернулся от собеседника, хотя полумрак не позволял это увидеть.

– Ну не скажите... Многие не слышали, а иным – все равно.

Павла Семеновича несколько насторожила странная реакция человека в тени. Но голос соседа снова стал звонким и ироничным:

– Тут иных нет... Но я не совсем понимаю. Вуколов Павел... Семенович? И вильнюское гетто, Понары. Как-то не очень...

На слове "Понары" он запнулся, как будто что-то мешало ему выговорить это, казалось бы, совершенно обычное название. Не договорив фразы, сосед ждал реакции собеседника. Напряженная тишина казалось растекалась по комнате. Нехотя, почти против своей воли Павел Семенович сказал:

– Долгая история. Я ведь не всегда был Вуколовым.

– Я бы послушал долгую историю – голос продолжал звучать четко, но нотки иронии куда-то исчезли.

– Это не так уж интересно, да и мне не слишком приятно. Быть жертвой – не самая приятная роль.

Павел Семенович решительно не понимал, куда заведет его странный разговор, но и отступать не собирался.

– Что может быть хуже? – спросил он, не ожидая ответа. Но ответ немедленно последовал:

– Наверное – быть палачом.

Этого Павел Семенович ожидал меньше всего. Разговор начинал становиться интересным и он отреагировал сразу:

– Ну это уже где-то за гранью, такое мне трудно себе представить...

– А вы пробовали?

– Пробовал что?

– Представить себе то что чувствует палач.

– Ничего он не чувствует. Откуда у него чувства? – Павел Семенович сообразил, что сказал глупость – Ну нет, он конечно что-то такое... – он запнулся, не зная как продолжить фразу, но собеседник пришел ему на помощь, прервав его:

– А что ощущал тот который повесил Эйхмана<sup>8</sup>?

– Это не одно и то же. Эйхмана следовало повесить – Павел Семенович начал сердиться.

– И исполнитель приговора искренне верил в это. А если те что стреляли в Понарах, тоже искренне верили, верили в какую-нибудь нелепую чушь. Во что только люди не верят по глупости... и по молодости.

– Так ведь можно все что угодно оправдать – возмутился Павел Семенович.

– Нет! – человек в тени казалось выкрикнул это слово и Павел Семенович невольно вздрогнул.

– Оправдать невозможно... – не совсем правильно сказал голос из тени и сам себя поправил:

– Нельзя... невозможно.

---

<sup>7</sup> Поселок под Вильнюсом, место массового расстрела евреев.

<sup>8</sup> Нацистский преступник, выкраденный израильскими спецслужбами и повешенный после суда. Одна из двух смертных казней, совершенных в Израиле за годы его существования.

Эта оговорка проскользнула почти незаметно для Павла Семеновича. Только подспудно мелькнула мысль: "Как знакомо... Где же так говорят?" Мелькнула и пропала, потому что сказано это было с какой-то болью в голосе. Затем голос продолжил уже немного спокойнее и со знакомой иронией:

– Разве что, пожалуй, можно попробовать понять. Но и это не обязательно.

– Именно в этот момент Павел Семенович почувствовал, как, казалось бы, абстрактный спор задевает лично его.

– Кого понять? – воскликнул он уже не полностью контролируя себя – Того кто хотел застрелить тебя только за то что ты еврей? Не хочу я его понимать и не буду.

А его странный собеседник продолжал как ни в чем не бывало:

– А вот если бы вы встретили сегодня на улице одного из тех, кто стоял там, в Понарах, над обрывом? Что бы вы сделали?

– Я? – пытался собраться с мыслями Павел Семенович, но его опять прервали:

– Давайте упростим задачу. Пусть это будет не садист, получающий удовольствие от казни, вроде...

– Вроде кого?

– Да нет, неважно. И пусть это будет не тот, кто подписывал...

Сердце Павла Семеновича пропустило удар.

– Что подписывал? – спросил он хриплым голосом.

– Приказы, конечно. Что с вами?

– Нет, ничего. Продолжайте – он очень надеялся, что голос не дрогнет. И он не дрогнул.

– Пусть это будет один из тех восторженных придурков что по глупости попали в Особый Отряд<sup>10</sup>... – продолжил ироничный голос в углу.

– А вам ведь действительно не все равно – с удивлением произнес Павел Семенович – Мало кто слышал про Особый Отряд. Конечно, мне трудно представить себе такого придурка здесь, в этой стране, но разве что теоретически... – он сделал выразительную паузу.

– Да, именно теоретически.

Павел Семенович задумался. Почему-то именно сейчас, наедине с невидимым собеседником, ему захотелось ответить максимально честно.

– Не знаю... – сказал он – Вы конечно ждете чего-нибудь вроде "своими руками задушил бы поганца!" Раньше, много лет назад я бы так и поступил. А теперь все оно перегорело что-ли. – и повторил – Не знаю. Наверное просто вызвал бы полицию и сдал бы его как можно быстрее чтобы не испачкаться.

– И вы бы даже не захотели спросить его? – прозвучал вопрос из угла. Но прозвучал как-то легковесно, даже робко. Казалось будто незнакомец сам боится ответа.

– Спросить? О чем? – теперь Павел Семенович решительно не понимал сути разговора.

И тут таинственный человек начал выходить из тени. Он с видимым трудом поднялся с больничной кровати в углу и подошел к окну. Теперь Павел Семенович мог его видеть. Ничего особенного не было в его новом соседе. Не было в нем и ничего таинственного. Павлу Семеновичу на миг померещилось, что не было этого странного диалога, не было непонятных вопросов, иронии в голосе, смутно знакомых оговорок и удивительного акцента. Как будто он только сейчас вошел в комнату и надо бы познакомиться. Он даже хотел поздороваться и представиться, но вовремя опомнился, сбросив наваждение, преодолев его как дежа-вю после тяжелого и продолжительного сна. Сосед стоял в пол-оборота, так что его профиль четко вырисовывался на фоне беленой стены. Человек как человек, пожилой, наверное ровесник или около того, фигура несколько сгорблена, Наверно – болезнью – подумал Павел Семенович, запоз-

---

<sup>9</sup> "Неможно" вместо "невозможно" – типичная оговорка литовцев, говорящих по русски.

<sup>10</sup> Специальный отряд СД, состоявший из литовских добровольцев.

дало вспомнив, что напротив него безнадежно больной. И тут сосед повернулся и взглянул на него в упор. Бог весть что ожидал увидеть Павел Семенович, но ничего особенного он не увидел. Лицо как лицо, старческие морщины, немного обвисшая линия рта. Вот только глаза, глаза незнакомца смотрели на него странно, как будто тот ожидал какой-то реакции, узнавания, удивления. А Павел Семенович решительно не собирался удивляться. Пауза затягивалась. По лицу незнакомца несколько раз пробежала волна мышц, как будто он хотел что-то сказать, но не мог решиться. Наконец он заговорил и его голос звучал ровно и неестественно спокойно:

– Что-же это мы как не родные, все на вы и на вы. Я за 30 лет как-то отвык выкать – он помолчал, и, вероятно, окончательно что-то решив для себя, продолжил – Меня зовут... – казалось он запнулся на долю секунды – Меня зовут Реувен Фаенсон. Тоже из Вильнюса и тоже из гетто...

Много лет назад Павла Вуколова, тогда еще младшего лейтенанта, командировали на полигон под Семипалатинском. Ничего ему не объяснили, взяли с него очень суровую подписку о неразглашении государственной тайны и велели сидеть тихо и записывать показания непонятных приборов. А еще ему приказали надеть темные очки, подобные тем, что надевали пилоты в старых фильмах, и ни за что эти очки не снимать. Очки закрывали половину лица и это было очень неудобно, на полигоне было жарко и пот заливал лицо, но молодой офицер пуще всего боялся невыполнения приказа, что и спасло ему зрение. В тот момент, когда взорвался заряд, Павлу на миг показалось, что мир изменился, изменились законы физики, которые он учил в детстве. Этот безумный, неестественный свет не мог, просто не имел права существовать в нашем мире. Казалось что вселенная вывернулась наизнанку и не хотела возвращаться назад. Потом потускнел лиловый гриб и вселенная постепенно вернулась в свое прежнее состояние. С годами воспоминания потускнели, но и через годы он четко помнил это ощущение невозможности, нереальности происходящего.

И то же самое случилось сейчас. Происходило нечто подобное тому давнему семипалатинскому взрыву. Мир встал на дыбы и снова стал невозможным, невероятным, неправильным. Павел Семенович, еще не придя в себя судорожно всматривался в лицо незнакомца, стараясь отыскать в них знакомые черты. Но не было, не было в этом лице ничего знакомого. Не мог этот человек быть тем, кем он себя называл, не мог хотя бы потому, что Павел Семенович своими глазами видел... И может быть для того, чтобы прервать эти воспоминания он хрипло пробормотал:

– Но ведь вся семья Фаенсонов... У меня на глазах... Лейтенант Клокке... – он не договорил, подозревая, что он говорит совсем не то, что следовало сказать. А что следовало сказать? Этого растерянный Павел Семенович решительно не понимал. Но незнакомец, казалось, его прекрасно понял:

– Все верно. Энрикас Клокке застрелил их...

– ... Выстрелил в затылок – машинально произнес Павел Семенович, хотя этого, наверное тоже не следовало говорить. А почему не следовало, подумал он? И что именно надо было сказать?

– Да, в затылок. Всем, даже младшим, даже детям... Всем, кроме Реувена. Мне он выстрелил в лицо... А еще там была семья Лошоконисов... – начал было его оппонент, но Павел Семенович прервал его:

– Но как же вы...?

– ... ты – последовала немедленная поправка.

– Как же ты...? – машинально повторил Павел Семенович и замолчал, толком не представляя, что именно ему следует спросить.

– Ты знал Реувена? – прозвучало от окна. Он судорожно кивнул. В горле внезапно пересохло и, казалось невозможным произнести хотя бы слово. А человек у окна продолжал:

– Помнишь, как несколько еврейских семей, в слепом порыве ассимиляции, послали своих детей в литовскую гимназию? Там еще были Реувен Фаенсон и Натан Йозефовичус. Так ведь, Натан?

Натан! Это же его имя! Так его звали давным-давно, много лет тому назад, еще до провозившего смертью окопа в Померании, до подслеповатых коридоров артиллерийского училища, до бесчисленных пыльных гарнизонов. Он задвинул это полузабытое имя далеко-далеко, в темные подвалы памяти, туда, где хранились острые шпильки Святой Анны, синагога на Еврейской улице, замок Гедиминаса на холме и обрыв в Понарах. И теперь он узнал человека у окна. Это Павел Вуколов не знал его, да он и не мог знать. Но Натану Йозефовичусу было хорошо знаком тот, с кем он просидел долгие три года за одной партией. Натан невольно отошел на шаг назад и скорее прохрипел чем сказал:

– Так это ты?!

Человек у окна казалось не слышал его и продолжал:

– ... Учитель Лошоконис рассадил их среди литовских детей. Натану досталось сидеть...

– Альгис? Ты Альгис? Альгис Вайткус? – Натану наконец-то удалось совладать со своим голосом.

– Я был Альгисом Вайткусом.

– И ты..

– Да, Альгис расстреливал людей в Понарах. Молодой, неопытный дурак.

Вселенная решительно не собиралась вернуться в свое исходное состояние. Все было неправильно, все было не так, все было вывернуто наизнанку. "Почему он говорит о себе в третьем лице?" подумал Натан. Наверное, он сказал это вслух, потому что Альгис ответил ему:

– Не знаю. Мне так удобнее – его слова прозвучали неуверенно, видимо он и сам не понимал себя, как-будто и его мир был вывернут наизнанку.

– И ты убил Фаенсонов!? – на Натана начала накатываться неконтролируемая волна гнева.

– Нет, их убил Энрикас Клокке. А Альгис убил Лошоконисов.

## Понары, Литва, 1942

– Тебе следует называть меня Генрих<sup>11</sup>— сказал Энрикас Клокке ровным, глубоко модулированным голосом. Помолчав, он продолжил:

– Впрочем – нет. Будет лучше, если ты будешь обращаться ко мне – господин лейтенант.

Лейтенант Клокке выглядел солидно до невозможности и форма Вермахта сидела на нем почти как влитая. Именно это "почти", оставляло смутное подозрение в том, что носитель ее еще не совсем с ней обвыкся. Как известно, для истинных штабных щеголей мундиры являются продолжением эпидермиса, без всяких там "почти". А для того, чтобы выглядеть фронтовиком, Энрикасу явно не хватало той аккуратной небрежности, которой можно научиться только в прифронтовых блиндажах. И все же Энрикас был великолепен.

Он стоял, заложив руки за спину, и все в нем было настолько идеально, что не было в его лице ни одной черточки, за которую можно было бы зацепиться взглядом. Чистая кожа лица давно забыла про юношеские прыщи, а может быть – помог одеколон. Серые глаза на лице лейтенанта были расставлены не слишком широко, но и не слишком близко к носу. С глазами гармонировали слегка, в самую меру, оттопыренные уши. Нос же, в свою очередь был именно такой как надо: солидный, но не чрезмерно большой. Истинно арийский нос. Этот самый нос Альгис своротил ему набок лет этак шесть назад во время короткой, но славной драки во дворе гимназии. Очень хотелось верить, что Энрикас давно забыл про тот случай, так как на его снисходительность надежд было мало.

– Слушаюсь, господин лейтенант Генрих – бодро выкрикнул Альгис, внутренне усмехнувшись.

– Не юродствуй, – сказал Энрикас, поморщившись – а то забуду что мы учились вместе.

– Ты узнал учителя Лошокониса? Впрочем это я был у него лучшим учеником, а не ты – добавил он, указав на левый фланг шеренги неподвижных людей на краю обрыва.

Альгис, конечно помнил, что лучшим учеником был он, Альгис Вайткус, но оговорка Энрикаса была вполне простительна, ведь Клокке так старался быть лучшим. Альгис подошел поближе к краю шеренги. Люди, мужчины, женщины и дети стояли спиной, но не узнать учителя Лошокониса было невозможно. Когда он писал на доске в классе, то тоже стоял спиной. Учитель был невысокого роста и Альгис, вымахавший выше всех в последних классах, мог, приподнявшись на парте, видеть розовую учительскую лысину. Видел он ее и сейчас.

– Что он здесь делает? Да еще с женой и внуками? – воскликнул он, от волнения забыв добавить "господин лейтенант".

Похоже, что лейтенант Клокке был настроен сегодня снисходительно.

– Уже ничего – сказал он почти что добродушно – Он уже все сделал когда укрывал евреев. А теперь делать будешь ты. Помнишь, что следует делать с укрывателями?

Альгис помнил. Помнил очень хорошо, даже слишком хорошо. Но Энрикас ждал ответа. И Альгис ответил, надеясь что его голос не дрогнет. Нет, голос не дрогнул и фраза прозвучала ровно и без эмоций, к удовольствию лейтенанта:

– Помню, господин лейтенант. Всех?

– Да, всех.

– И детей?

– И детей тоже. А ты что думал?

Действительно, о чем же думал Альгис? Он уж точно не думал, что придется убивать своего учителя. И он не думал, что там будут дети. Похоже, раньше он вообще не слишком думал. А сейчас думать было поздно. Тем временем Энрикас продолжил:

<sup>11</sup> Литовское имя Энрикас соответствует немецкому Генрих.

– А Реувена помнишь? Реувена Фаенсона. Именно его семью прятали Лошоконисы. Впрочем, Фаенсоны – это уже моя забота. А твоя – Лошоконисы.

Альгис стоял у левого фланга шеренги неподвижных людей, судорожно сжимая "люгер" врученный ему лейтенантом. Ему еще не приходилось стрелять человеку в затылок, но он много раз видел как это делается. Они всегда падают вперед, помнил он, так что при известной ловкости можно не запачкаться. Лишь бы ошметки мозга не брызнули во все стороны. Но и это легко отмывается. Госпожа Лошоконе<sup>12</sup> стояла в начале строя, но Альгис первым убил старого учителя, возможно потому, что в его так хорошо знакомую лысину трудно было не попасть. Потом пришел черед его жены. У нее были распущены волосы и Альгис увидел, что она давно не красилась, волосы были уже наполовину седые. Война, подумал Альгис, где сейчас достать басму. У Лошоконе была целая грива полуседых волос и Альгис боялся, что пуля пройдет через них минуя голову. Но он напрасно боялся – пуля вошла куда надо. А следующим был ребенок. Внук. Альгис видел его перед войной но не помнил его имени. Юргис, что ли? Да нет, вряд-ли. Откуда у учительского внука деревенское имя. Но этот белобрысый затылок он определенно уже видел. Нужно было выстрелить. А потом сделать два шага в сторону и убить девочку, внучку. Но Альгис не выстрелил...

---

<sup>12</sup> Окончание литовских фамилий для замужних женщин.

## Больница "Ланиадо", Нетания, Израиль, 1998

Альгис сделал паузу, и только теперь Натан осознал, что он уже давно сидит молча и слушает неторопливый рассказ. Наверное это размеренный голос Альгиса, лишенный, казалось бы, каких-либо эмоций, погрузил его в ступор, подобный гипнотическому сну. Сделав над собой усилие, Натан саркастически воскликнул:

– Ясное дело, ты застрелил Клокке, перебил охрану и вывел всех в лес.

Альгис, не отреагировав, продолжил:

– Альгис бросил пистолет...

– Да, и заплакал горькими слезами раскаяния – ехидно вставил Натан.

– .. Он сел и сидел тупо смотря перед собой пока Энрикас не сбил его на землю, ударил несколько раз сапогом... – казалось ничто не может прервать этот размеренный, лишенный модуляций, голос.

– Ах ты бедняжка. Что, больно было? – это Натан уже почти выкрикнул не в силах избавиться от наваждения. А размеренный голос продолжал:

– Потом Энрикас поставил Альгиса на ноги и заставил смотреть как он убивает Фаенсонов. Но вначале Энрикас застрелил маленьких Лошоконисов. Он сделал это походя, как будто они были ему не интересны. Ты ведь помнишь Клокке из айнзатцгруппы<sup>13</sup>?

Конечно, Натан помнил, но не успел открыть рот. А Альгис монотонно тянул:

– Литовская пылкость органично сочеталась в нем с немецкой добросовестностью. Он ничего не делал просто так, этот Энрикас. Ведь Альгис уже расстреливал людей. Но то была расстрельная команда, где каждому хочется думать что это не его пуля...

– И ты, конечно, всегда стрелял в воздух – выкрикнул Натан только чтобы прервать это монотонное бормотание.

– Нет, Альгис не стрелял в воздух – впервые в голосе Альгиса прозвучали эмоции – И все же так было легче. А тут Энрикас дал ему свой пистолет и приказал стрелять в затылок. Он сам так делал, ты наверное знаешь.

– Знаю – неопределенно сказал Натан. Теперь в его голосе исчезли эмоции. Альгис удивленно на него взглянул, помолчал немного и продолжил:

– ...И только Реувену он выстрелил в лицо. Но зачем ему нужен был Альгис? Зачем он так поступил? Зачем дал Альгису свой "люгер". Что ему нужно было?

– Почему ты все время говоришь о себе в третьем лице? – гнев снова начал затоплять сознание Натана.

– Мне так удобнее.

– Не поможет! Это ты, Альгис Вайткус, стрелял в евреев в Понарах. И это ты убил Лошоконисов – он уже не сдерживал себя и кричал в полный голос не боясь того, что его услышат.

– Да, это был... я – Альгис произнес это тихо и медленно, запинаясь на каждом слове, как будто сам не веря тому что сказал. Перед тем как произнести "я" он сделал глубокую паузу, по-видимому не сразу решившись на такую категоричность.

– Ты! И тебя будут судить. Ты будешь сидеть за решеткой, а люди будут показывать на тебя пальцем как на животное – выкрикнул Натан ему в лицо.

– Заманчивая картина – почти весело ответил Альгис. Казалось, к нему уже вернулась прежняя ироничность – Но, боюсь, ничего не выйдет. Вначале, наверное, будет следствие, долгое и основательное. Будут искать свидетелей, документы. У нас это умеют, ты же знаешь. Или не знаешь? Неважно. Я, конечно, во всем признаюсь, как признался тебе, но и это не намного ускорит процесс, который займет месяцы, если не годы. Потом Литва потребует экстрадиции,

<sup>13</sup> "Эскадрон смерти" СД.

потом наш верховный суд эту просьбу рассмотрит. А мною уже давно будут лакомиться черви. Моя левая почка позаботится об этом, а правая ей с радостью поможет.

А ведь он умирает, вспомнил Натан. Но жалости к этому человеку в нем не было.

– Значит тебе снова удастся сбежать? Как в 44-м?

– Не знаю – ироничность опять куда-то исчезла, голос Альгиса был нерешительным, в нем появились заискивающие нотки.

– Может...Может быть ты возьмешься судить меня? – и снова все изменилось. Альгис заговорил быстро, голос его, потеряв ироничность, приобрел вескость. Он, как будто хотел убедить не только Натана, но и себя самого:

– А что? Будешь дознавателем, прокурором и судьей. А если хочешь, то и исполнителем приговора. Мы что-нибудь для этого придумаем. У нас, евреев, всегда найдется неординарное решение.

– Да какой ты еврей?! – до Натана еще не дошел смысл альгисовских слов, но слово "еврей" подействовало на него как лакмусовая бумажка на насыщенный раствор.

– Как скажете, Павел Степанович – ехидно парировал Альгис, напирая на имя-отчество.

Натан, давно уже стоящий на ногах, упал в удачно подвернувшееся (а может быть и поставленное Альгисом) кресло и пробормотал:

– Судить?

– А что? Свидетельские показания не понадобятся ввиду чистосердечного... Ну ты же понимаешь...Взвесишь все за и против.

– Какие еще "за"?

– Ты судья, тебе виднее.

– Похоже ты хочешь исповедоваться. Но я тебе не ксендз.

– Да и я с 41-го не ходил к причастию. Последние годы я все больше в синагогу (немалое усилие воли понадобилось Натану, чтобы сдержаться при этих словах). У нас, евреев (и опять Натан сумел сдержаться, стиснув зубы), ведь нет отпущения грехов. Но высший суд есть и у нас. Правда сегодня не Йом Кипур<sup>14</sup>. Так что вся надежда на тебя.

– Надежда!? – сдерживаться уже просто не было сил – На меня!? Да тебя надо немедленно сдать ... в полицию, в зоопарк, в кунсткамеру, не знаю куда! Не понимаю, зачем я вообще тебя слушаю.

– Зато я понимаю. Тебе очень хочется узнать как из убийцы евреев Альгис сам стал евреем, израильтянином и сионистом... Стал Реувеном.

– Ты не Реувен, никогда им не был и никогда не будешь!! – выкрикнул Натан уже понимая, что этот мерзкий нацист прав и он действительно хочет понять этого подлеца. Хочет понять, почему он здесь, в еврейской стране, что он здесь делает и чем он, черт побери, дышит. И Натан, глубоко вздохнув раз или два, процедил сквозь зубы:

– Но если откровенно, то я действительно хотел бы понять.

– И я тоже. Я ведь тоже не совсем понимаю... Предлагаю заслушать подсудимого.

---

<sup>14</sup> Судный День.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.